АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

НА ПЕРЕВАЛЕ

III

КРИЗИС КУЛЬТУРЫ

„АЛКОНОСТ"
Петербург
1920

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

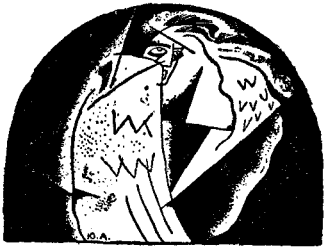
НА ПЕРЕВАЛЕ

III

КРИЗИС КУЛЬТУРЫ

„АЛКОНОСТ“
ПЕТЕРБУРГ
1918

Военная Типография (площадь Урицкого, 10).



1.

Над зелеными струями Рейна отчетливы холмики; рейнские струи летят: мимо домиков, кустиков, холмиков, черепичатых крыш, проступающих грязно-оранжевым цветом в туманах, зареющих в воздухе; и — поднимается яркопламенный, яркокаменный Мюнстер; ярятся листы винограда (уж— осень); струей розоватой они распластались на серой, слегка пламенеющей башне, которая каменеет в пурпуровый воздух (в час вечера); миниатюрный дракончик бассейна раз'ял свою пасть—на ту праздную кучечку стертых, лиловых носов.

Это—Базель.

Он—город университетский, почтенный; университетская библиотека привлекает удобством пустыннейших комнат — обилием старых томов; я, над ними склонясь, утонал в прихотливейших арабесках Раймондовой мысли, пытаясь сквозь „*Ars brevis*“ и комментарии Бруно, проникнуть в „*Ars Magna*“ капризного каталанского мудреца, трубадура и... мученика.

Базель—город университетский; но острое слово нигде не прорежет густого, тяжелого воздуха, пересыщенного испарением, и выхлестывающего из себя неизливные струи дождей: от октября и до мая (ужаснейший климат!).

Здесь слово — ползучее; клякло и тускловато прошлепав, оно упадет; вот зобатая кучка, глядя на закат, направляется в дымогары дешевого ресторанчика; тащится кривоногий кретин...

2.

Старый Базель чреват громким прошлым, чреват громким будущим, оседающим из окрестностей на него бирюзовыми куполами *Иоаннова здания*, к созиданью которого прикоснулся и я (неумело и робко).

Живя около Базеля два с половиною года, я понял, что именно здесь должны были слагаться фрагменты „*Происхожденья трагедии*"; именно здесь Фридрих Ницше был должен впервые почувствовать кризис культуры.

—„В тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей жизненности, — я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В это время... я покинул профессуру в Базеле... Рассматривать с точки зрения больного *более здоровые понятия и ценности*, и наоборот, с точки зрения полноты и самоуверенности более богатой жизни, смотреть на... работу инстинкта вырожде-

ния—таково было мое длительное упражнение, мой истинный опыт"... [1]).

Присутствие Ницше отпечатлелося в воздухе уху неслышимым треском: сентябрьская злость и сентябрьская солнечность навевают мне в Базеле мысли о Ницше; когда на заре я стою над зелеными струями Рейна, тогда, в отсыревшем, в грозящем дождями, мне шепчущем воздухе, слышу я явственно происхожденье трагедии: *заболевание Ницше.*

Расхождение с современностью, кризис культуры, переживает он здесь: и—глубокое разочарование в немцах; здесь видим мы, как старик, Яков Бурхардт, взволнованно тащится к кафедре, оторвавшись от книг: предостеречь молодежь от трескучих фанфар самодовольного империализма, как Ницше ему апплодирует, как он об'являет ряд лекций, затрагивающих культуру, как он умирает для Вагнера, как унижен, разбит он в надеждах; отсюда его увлекает сестра; здесь в 75 году посещает его угасание жизни; отсюда он пишет: „я тридцать часов под ряд мучился" [2]) и перевозят отсюда больного его ближе к горному воздуху.

3.

Здесь покоится прах величайшего из современных поэтов, угасшего рано; стоит над начатками

[1]) „Ecce homo". Перевод под редак. Ю. М. Антоновского. Стр.7,9.

[2]) Даниэль Галеви. Жизнь Фридриха Ницше. 1911 год. Стр. 144.

новой культуры звездой, Христиан Моргенштерн; я имел величайшее счастье пожать ему руку; он был уже при смерти; и—на пожатье руки он ответил мне взглядом, которого не могу я забыть; говорить он не мог; повстречались мы в Лейпциге, на курсе лекций, разоблачающем тайну Грааля, и в городе, где получили когда то свое посвящение в жизнь Рихард Вагнер и Гёте (во время болезни); да, мне Моргенштерн—старший брат, соединенный со мною любовью к *учителю*; он—переплавленный всем существом прикосновением к духовной науке,—далекой звезде, еле брежжущей мне: *Христиан Морген-Штерн.*

Память явственно мне сохранила лучистые взоры огромных, лазуревых глаз, неземную улыбку, сквозную и тонкую руку, протянутую как... помощь в грядущее.

В те незабвенные я дни близ Лейпцига посетил прах того, кто мне долгие годы светил утешеньем, как был утешением он Морген-Штерну: прах Фридриха Ницше; (листики не умирающего плюща, мною сорванного с могилы, со мною); могилой родного покойника, родиной просветленного Гёте, огромною тайною о Граал, и встречею с Моргенштерном—вот чем блеснул Лейпциг.

Но острие моей жизни есть Базель: здесь так же страдал, как и Ницше, осознаванием глубины вырожденья в себе; здесь мне утренний свет Моргенштерна звездой путеводною вел через курсы

духовной науки: к *Иоаннову зданию*—к двум куполам, бирюзеющим ныне; гремели глаголы учителя; и—современного Экхарта, Карла Бауэра, глубочайшие сужденья которого чту.

В этом Базеле, может быть, похоронил я навеки себя; но, может быть, здесь именно я духовно родился; воспоминанья о детстве мои, *„моя жизнь"* есть рассказ о моем отдаленнейшем будущем; в Бергене, где я увидел огромные молнии света; напоминанием Бергена передо мною прошел Моргенштерн; здесь же в Дорнахе (в Базельланде) мне на голову возложили терновый венец; и как Ницше, больной от мучений, бросался я в горы.

Кризисы современной культуры, приведшей к войне, гром войны и войну с своим собственным двойником пережил я под Базелем.

4.

В Базеле проживал Фридрих Ницше; он есть лезвие всей культуры; трагический кризис ее—в его жизненном кризисе: „Некогда с моим именем будет связываться воспоминание о чем то огромном,—о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести" [1])...; проговорила культура устами его; он взорвал сам себя; он взорвал в себе „немца": *„они для него не возможны* [2])"; взорвал

[1]) Ecce homo, стр. 114.

[2]) Idem, стр. 111.

в себе „доброго“, „*ибо добрые не могут созидать: они... начало конца*“ [1]); он взорвал человека в себе— в то мгновенье культуры, когда достигала последняя необычайных розмахов: „В тот совершенный день, когда все достигает зрелости и не одни только виноградные гроздья краснеют, упал луч солнца и на мою жизнь: я оглянулся назад, я посмотрел вперед, и никогда не видел я сразу столько хороших вещей“ [2]).

Первое посещение Базеля (помню его, как сейчас) было мне в сентябре — в совершенные дни, когда явственно проступили мне контуры великолепнейшего „Евангелия от Марка“, звучащие в лекциях Штейнера: „*глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему*“... *этим гласом был Ницше.*

Помню я Базель в те дни: виноградные листья краснели; и бросило солнце на жизнь мою луч; я впоследствии сам рассказал себе *жизнь*, мои первые детские опыты сознавания — в час, когда голос „*Евангелия от Марка*“ гремел оглушительно над двадцатым столетием: все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне [3]).

—„Скажи нам, когда это будет“? [4])

—„Когда же услышите о войнах и военных слу-

[1]) Idem, стр. 118.
[2]) Idem, стр. 6.
[3]) Ев. от Марка: XIII, 2.
[4]) Idem: XIII, 4.

хах, не ужасайтесь: ибо надлежит *сему* быть; но *это* еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство. И будут глады и смятение... Предаст же брат брата на смерть, и отец детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их... Когда же увидите мерзость запустения..., тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот не сходи в дом... Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения... И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть... И когда вы увидите то́ сбывающимся, знайте, что близко [1])"...

Я под Базелем сам себе рассказал свою жизнь, когда терны вонзались в чело здесь — в мучительном Дорнахе; громыхали орудия — там, из Эльзаса, оповещая весь мир о падении и разрушении зданий культуры.

Мне послышался голос того, кто страдал здесь, как я: „Политика... растворится в духовной войне... Формы... старого общества будут взорваны... Будут войны, которых никогда еще не было на земле... Я динамит... Я знаю свой жребий [2])".

Рейн — бешеный в Базеле; здесь, опрокинувшись в струи, ткет ясное солнце златистые кольца, летящия, переливаясь и разбиваясь на струях—в окаменелые берега, населенные множеством нибелун-

---

[1]) Idem: XIII, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 20, 29.

[2]) „Ecce homo". Стр. 114, 115.

гов, ведущих с богами упорные войны за рейнское золото: вся история капитализма, приведшая к ужасам мировой катастрофы и к гибели современной культуры — оплотневание солнечных блесков, играющих на поверхности вод; возвращение золота Рейну и есть возвращенье богатств, принадлежащих природным стихиям,—природным стихиям.

И Ницше, увидевши ценности в золоте, из которого отливали в Германии императоров и полководцев, отверг это золото; оплотневшие ценности, золото, он заклинал отдать водам; провидел он золото Солнца там именно, где для нас само солнце— тяжелый и косный металл.

Он пытался быть Зигфридом: есть легенда, что Вагнер, осознавая героя, зарисовал в нем черты экспрофессора Ницше, поднявшего над Европою на рубеже двух эпох страшный меч: меч духовной войны.

„Я хожу среди людей, как среди обломков будущего: того будущего, что вижу я“ [1]).

— *„Я благостный вестник, какого никогда не было, я знаю задачи такой высоты, для которых до сих пор недоставало понятий; впервые с меня опять существуют надежды“* [2]).

5.

Вечные книги—источники: между двух животворных глотков из источника книги протянется проме-

[1]) Фр. Ницше: „Так говорил Заратустра“.

[2]) Фр. Ницше: „Ecce homo“, стр. 115.

жуток из лет; открываешь страницу: кастальские струи вскипят меж строками; и — хлынув на стол, водопадом стекают; вся комната топится струями; волны, разбивши стекло, тебя пенно выносят наружу; ты с ними, струясь, побежал по камням, умножая лучистые блески и бездной алмазов швыряясь в прибрежие; живо текущее слово, создавши над брызгами радугу, выростает воздушно архангелом, перекидывающим мосты от земли к небесам.

6.

Три книги „сопровождают меня:“ „*Евангелие*“, „*Заратустра*“ и „*Путь Посвященія*“; ежедневности расстилают пески, где ключи не кипят; переменяю обители я; передо мной пробегает Сицилия, но со мной „Заратустра“...; забравшись на плоскую крышу глухой, подтунисской деревни, рассматриваю, как на площади подо мной бирюзеет бурнусами кучка арабов в бирюзоватую, африканскую ночь; и глухое рыданье „*там-там*“-а [1]) напоминает пустыню; со мной—„Заратустра“; средь льдов многозорной Норвегии, где пурпуровый мох покрывает зеленые благородные камни, где я подбираю с полузамерзшего озерца рог олений — и там: „Заратустра“ со мной; он со мной—в многошумном Париже, в ужасном Берлине; передо мной прогоняются: Иерусалим, и Каир, Петербург и Москва, Кельн,

[1]) Арабский инструмент.

мне памятный Брюгге, приветливый Брюссель, таинственный Нюренберг, Христиания, Копенгаген, зубчатая Прага, задумчивый Страсбург, хохочущий Мюнхен; меняются страны; но неизменная точка со мной: „Заратустра" со мной (путешествовал прежде со мною и Кант: возить за собой его тяжко; я — бросил его).

Путешествовать мне хорошо с непеременчивым центром; мое дорогое трехкнижие—он; каждый город во мне отлагает свой дар; хризолит отдает мне Норвегия; и бирюзою во мне отливается Мюнхен; сквозной хризолит, бирюзу и берилл (Копенгаген), как дар, подношу к дорогому трехкнижию я; преломив, мне оно, отражает меня: у меня самого. Мне оно, — словно родина: обетование об окончании странствий; приподнятым над собою самим нахожу себя в нем; и — себя самого у себя самого проверяю—в кастальской струе, бьющей здесь, меж страницами; все мелькнувшее мне, все, упавшее в недра мои, здесь опять выбивает наружу: зелеными струями прядают хризолиты Норвегии; и голубые, струят свои сны бирюзы; было подлинно солнце, — струя золотая; был град на душе, — свинцовеетструя.

7.

Все великие книги прозрачны и живы; они оживают, как свеянные создания из переливчатых искр; знаете ли вы состоянье сознания мысли, себя напря-

гающей до появления искры из глаз? эта искра блеснет между вами и праздным предметом, в который вперились рассеянно вы—как то вдруг: просиявши, погаснет; послушайте, размышляли ли вы до блистающей *„искры из глаз“*? Если—нет, рассмеетесь наверное вы надо мною; но вы не философ тогда; философия есть живая страна, преисполненная невыразимых ландшафтов, где видимый мир, отлагается зернышком в мысли: стране философии, как земное, горящее сердце какого то электрического существа, распростертого от вселенной к вселенной; *существо* размахнулось огромными крыльями; тысячи светоливных очей смотрят внутрь; и—кричат ясным светом:

—„Я!“
—„Я!“
—„Я!“
—„Я!“
—„Я!“...

Это множество *„я“* есть текучее множество в мысли архангела: архангеличны все мысли...

8.

Коль будете вы размышлять на все ту же исконную тему то размышления месяцев соединятся; блеснет ощущение: будто вы возвращаетесь, например, по утрам к той и той же работе, ее продолжая; и—между двух размышлений проходит размеренный день; пусть течет его злоба: в него не

войдет чувство мысли; и не сместит распорядка обычного дня: деловитее и трезвее вы будете; в миг размышлений—забота отхлынет.

Соединятся для вас размышления утр, превращаясь во взрывы колодца из мыслей; и будет однажды огромнейший миг, когда брызнет источник воды в глубине размышления; и расширяя колодезь из мысли (до искры из глаз), вы увидите глубину протекающего источника мысли; он брызнет мгновенно: вольется в обычные мысли; и тронутся мысли; и вас поведут за собой: простроитесь вы в мысли; не скажете больше: „я мыслю", но скажете: „Мысли, себя измышляя, меня помышляют": я—мыслим теперь иерархическим существом; наблюдение, описание происходящих процессов, их точная копия нарисует мне страны *Теорий*, бросающих тени, где я обвожу тени углем на белом картоне моей восприимчивости; когда называете вы себя теоретиком, я бросаю вопрос: были ль вы в стране мысли?

Мы жизненных мыслей не знаем; обычные мысли—не мысли: они—инструменты, которыми мы буравим тяжелые толщи до встречи с подземным источником, вылетающим струями артезианской воды из расщепа понятий.

Обычная логика—жалкий участок земли, на котором мы, собственники, обыкновенно сажаем лишь *„овощи"* предрассудков.

А вечные книги—ни почва, ни овощи: струи они; и они подмывают устои, рвут буквы и строчки

страниц, выбивая фонтанами и унося через окна: в безмерности космоса.

Мы не знаем источников, пересекающих все участки размеренной мысли: под почвою мысли; впечатление, ждущее нас у источников мысли—ни с чем несравнимо: —

— вдруг мысль расширяется; переживающие расширение это испытывают катастрофу, грозящую их повергнуть в болезнь; им кажется явственно: собственность мысли утрачена; мысли, замыслив себя, начинают дрожать, копошиться и бегать в извилинах мозга, как многое множество муравьев муравейника; из бесчисленных ходов они выползают: ползут за добычею; вновь возвращаются.

Мысли мыслят себя: мысли вырвались из обычного круга сознанья; он—рвется потоком клокочущих образов; топится стылое „я", растворяясь в мысли; „я" — схвачено, вырвано, унесено, при попытке вернуться и вынырнуть на поверхность, оно попадает в чужое сознание.

Опыты упражнения с мыслью перемещают границы сознания и научают, ныряя в источники мысли, выныривать: в ближнего; переживать его в „я" и ему говорить:

„—Я есмь ты"

Научают, ныряя обратно, опять возвращаться в свой мозг, смутной памятью о состояньи сознания, смежного с вами (извне обведенного черепом); и ясномыслие это ростет.

9.

Разсуждения о культуре у гениев—обостре́нны до крайности; и выражаются в кончике идейного лезвия: в афоризме,—сжимающем библиотеки... ненаписанных книг, приподнимая завесу над будущим.

„Происхожденье трагедии", например, — афоризм; в нем глаголет *дух времени*; горний глагол непрерывен; и Ницше расслышал случайную фразу его в новом взгляде на Грецию; сколько осталось непонятым Ницше! Умей мы подняться на кручи XX века, покажется нам, будто истины этого века принадлежат XV веку; воистину нет ничего величавее современных событий; под ними, увы, разумеют далекое прошлое, переваренное желудочным соком ничтожных душонок; „продукты" культуры, в которой живем мы, — суть отбросы.

Мне предстоят рои истин; они — только холмики, от которых встает горный кряж современности; но современники холмики эти, увы, признают „горизонтами будущего"; в худшем случае называют они эти данности истин химерою; что сказали б они, еслиб подлинно „современность" предстала б их взору? Меня осмеяли когда то: теперь опираются часто на книги мои, вызывая во мне инстинктивнейший жест: *от себя самого отказаться*; воистину—книги мои лишь рассказ о „предметах", доступных вниманию каждаго; но к наблюдаемым фактам внимания нет.

Говорил я когда-то: „посмотрите: вот туча“,—смеялись; и вот проходили года: разражалися громы; и вместо того, чтоб поверить „*предметам*“ моих наблюдений, мои почитатели расставляют теперь тяжелейшие томы: вот здесь—„Символизм“, а вот там—„Петербург“; горизонт моих видений прочно закрыт от их взгляда: моими страницами; на горизонте сознания— новая бурная жизнь: солнце всходит, заходит; и зори блистают, и тучи встают; то, чему говорю: „современность“, является химерой для всех.

10.

Лет чрез двадцать — откроется, что: Августин— протестант; и в нем нет католичности; через него изливается в средневековье Плотин; он таит в себе „Фауста“ Гете и „Вагнера-Канта“; в нем — вздох фуги Баха; тончайшее сочетание „современностей“ поздней эпохи уже современно: в начале эпохи; наши дни затаил шестой век; Августин с ним сравнялся: все прочие отставали от времени.

Вся борьба с манихейским учителем, Фаустом, в Августине была не победой, она продолжалася [1]); и побеждала сознанье его; ей сражен в подсознании он.

---

[1]) Contra Fumaust.

11.

То, что принято ныне, как истина, духом событий культуры отвергнуто.

Принято связывать возрождение с мистикой: гуманистам предшествуют мистики-де; знаменуют они: умаленье схоластики, — *темного прошлого* мысли; но это *темное прошлое* в изысканиях нашего времени — свет; преклоняемся мы перед светлыми вспышками абеляровой мысли.

И мы отмечаем: гонения, сплетни, интриги Бернарда Клервосского, мистика, вдохновителя крестовых походов, родоначальника мистической школы монастыря Сен-Виктор: Гуго, Бернард в нашем взгляде суть более мистики, нежели „мистики" Экхарт и Беме: последние—более „оккультисты", „ученые" и „мыслители", нежели мистики; „пря" с теологией в мистике—видимость мистики; право: задания теологических „оформлений" размежевалися в сущности дружески с „углублением" мистиков; так, разорвав небеса на две части (на постижимую и непостижимую часть), принимаются: теология — оформлять постижимое небо; и мистика—исживать непостижности непознаваемой части.

Схоластика, отрицая разрыв неба на-двое, провозглашала свободу его постижения; против свободы схоластики теология с мистикой заключили коварный союз; и — схоластика обломалась в „томизм"; до томизма—струя возрождения в ней; и—

семнадцатый век уже явно загадан — в борениях метафизической совести Абеляра, где Августин закипает свободою духа.

Но Августин—не святой, а „блаженный" (весьма характерная сдержанность со стороны всех католиков, иезуитов, теологических крыс, для которых, конечно, весьма подозрителен он); и родись он позднее, постигла б его участь Луллия. „Ars Lulliana" покрыла Европу; и дело Раймонда считалось святым; но позднее еще книги Луллия — сжглись католической церковью; Бруно, великий поборник Раймонда, недаром сожжен на костре; в нем сгорает для церкви схоластика, с родоначальником, с Августином.

Для церкви и он—протестант.

Протестантизм—сокровенней струи своей: Лютера; бьется во многих источниках он, пробиваясь струями в каменистой, безрадостной почве шестого, девятого и десятого века; он крепнет в двенадцатом веке еще; бьет источником италианской культуры, врезается гравировальною линией Дюрера; ему имя— есть *„христовство"*.

„Жена, облеченная в солнце" и есть: христианская община первых веков; на протяжении ряда столетий сжимается оффициальною церковью эта жена вокруг нас, чтобы стать *„нюренбергскою"* дамой, *„железною"* дамой: известным орудием пытки (футляром, истыканным остриями внутри); вне футляра, вне церкви, вне самой ограды ее разблиста-

лась теперь нам жена, облеченная в солнце: Мадонна Италии: „женственность“ женщины; видим вне тесной церковной ограды блистание красками религиозных основ человека, где „Он“ непостижно вписуется в сердце людей и выражает вне церкви: преображение человеческого подсознания до слиянья его с существами космических сфер; это видим мы в Беатриче у Данте, в „Мадонне“, в „Христе“ Леонардо-да-Винчи; „Христы“ и „Мадонны“, как люди, блуждают средь нас на полотнах и фресках Италии, переливая свой красочный импульс не в явную церковь, но в тайную, сокровенную церковь, которой невскрытое имя — „культура“; оффициальное христианство вступает в борьбу с тайно вписанной Христоносной свободой: с „*христовством*“ культуры, в которой она—эта тайна Христа—выражается явно: в многообразии искажений (как в нашем „хлыстовстве“); борьба „христианства“ с „христовством“,— вот лозунг борьбы: Возрождения с инквизицией (эта выступит после); загадана невероятнейшая возможность: преобразить до „мистерии“ жизнь; и борьбою общественных отношений вступает в сознанье „*мистерия-драма*“, которой конец—впереди: только в Солнечном Храме грядущей культуры увидим преображение жизни; четыре сословия заговорят голосами вещающих четырех гиерофантов культуры; в мистерии Штейнера видим мы: Солнечный Храм; Бенедикт, Теодозий, Роман и Ретард—гиеро-

фанты—стоят друг пред другом; и—представительствуют от лица человечества [1]).

Солнечный Храм—впереди; этот солнечный храм или „град" разблистался отчетливо: в Александрийском периоде мысли; и после блеснул он в Италии: „Civitas Solis"; но „Civitas Solis" осуществило себя, как imperium в Риме; в Италии Град этот солнечно проблистал в архитектурных заданиях Микель-Анжело (в неудавшемся Ренессансе архитектуры Италии); его деградация в Маккиавелли; его символизм—„социализм" Кампанеллы.

12.

Доселе „*христовство*" есть стимул культуры. Интимное этой культуры — сказать, что в простой Форнарине таинственно действуют силы Мадонны, что в Фауста вписаны тайно великие силы Христа, этот срыв человеческих сил (или — грех) может быть силой нежности, силой любви, не нашедшей русла.

Характерно: Христос что-то молча чертил на песке перед грешницей; то, что он тайно чертил, стало явным намеком: в культуре Италии; сокровенно оно пролилось в „протестанство"; неузнанно: руководило историей бунта культуры в борьбе его с церковью.

---

[1]) См. Мистерию „У врат посвящения".

Грядущее (может быть... двадцать пятого века) *прополыхало в пятнадцатый век; луч луча* — Ренессанс; а звезда, предварявшая *„луч луча“* и невидимо осиянная им — та звезда восходила от первого до четвертого века в... Александрии.

13.

Мысль античного грека уподобляема образу; еслибы уплотнили его, то восстали бы: Аполлон и Венера, но еслибы уплотнили мы мысль Александрийского грека,—восстали бы образы великолепной Италии; в Александрии случился огромнейший выпрыг из мысли античности; он перед нами — леса, обстающие Солнечный Храм (или Град); недостроенный Храм, ими скрытый („идея“ Плотина)—Мадонна; „единое“ пятого века до Р. Х. — Apollo; „единое“ третьего века по Р. Х.—Христос „Тайной Вечери“ Леонардо-да-Винчи; между обоими — в промежутке столетий: ужасные корчи страдающей, крепнущей мысли, запечатленные судоргой Александрии иль— „Страшный Суд“ Микель-Анжело, где разгневанный Аполлон (иль Христос) обрекает на суд обреченное тело; волна сожигаемых тел есть упадочность; одновременно: свет внутренний, проедающий тело, до... духа; и— проникающий в дух.

Корчами Александрийской культуры сказались чрезмерности культа личности Италианского Ренессанса; и тайным светом блистает в пирах этой

жизни „христовство" культуры, грядущей на нас; где „пиры" станут „*вечерей тайной*", куда придет Гость: человек в человеке; Он—ныне Неузнанный, странствует в нас; и мы, странствуя, ищем свидания с Гостем.

Культура истекших столетий (с XVI по XX)—*странствие*; „странник"—ее выразитель.

В Борджиа, в Медичи, в оригинальнейших контурах пап (Николая, Льва, Юлия), в утонченіях, в „синкретизме" пиров Ренессанса нет *странствий* еще: здесь на празднике созревает трагедия пресуществляемой личности; скоро и в ней обнаружится Человек (Фауст, бледный Гамлет и Манфред,); скоро радости пира развеются; зало пира окажется: колдовским погребком, нас встречающим в „*Фаусте*".

Фауст—спасается.

14.

Вся трагедия Ренессанса разоблачаема Фаустом: „Фаустом" Гете; но распадается в „Фаусте" Фауст (последняя сцена) на... бренные пелены, подлежащие истреблению пламени („Und wär er von Asbest, er ist nicht reinlich") и на... воскресшего к жизни духовной; и с высей духовного мира мы видим, что Фауст, покрывший шестнадцатый и семнадцатый век изобретеньями Галилея, Коперника, Кёпплера, живоносно протек в миры духа сплошной музыкальной стихией: источником, Бахом; и оживление север-

ной части центральной Европы струею Италии, есть оживление Фауста, *верного Господу*[1]), духом научного творчества; тайное этого творчества: „бах" музыкальный ручей.

Этот *„бах"* явлен после, как... музыка Баха. Что я говорю, знаю я — парадоксально до крайности: только этими парадоксами можно коснуться огромной, невскрывшейся тайны культуры Европы; то, что я подсмотрел, есть громада невскрывшихся отношений между научною, эстетической, философскою и религиозною жизнью Европы истекших столетий; я знаю: содержатся здесь библиотеки ненаписанных книг; но когда они будут написаны, то со мной согласятся. „Имеющий уши пусть слышит".

15.

В Бахе явлены импульсы, животворившие культуру Европы со времени Августина до нашего времени; переворот совершился: осуществился внутри христианства: ручьи живоносного импульса, Бах, артезианскими струями пробиваясь наружу, лиются: наукой, искусством, кипением Ренессанса наружу.

„Христовство", как импульс, сочилось сквозь сеть кровеносных сосудов громадного организма Европы — вне церкви и догматов; брызнуло: артезианскими струями; вышло наружу в легенде о

---

[1]) См. в „Фаусте" Гёте „Пролог на небе".

Граале (двенадцатый век); оставалась сеть высохших русл; животворявшие струи, изсякнувши в руслах, пробились наружу; тогда обнаружились русла, как форма ушедшего импульса (импульс теперь оживлял в другом месте ландшафта души); опустошенный ландшафт, форма тайного импульса — готика; или—каркасы соборов.

Соподчиненье *ожив* [1]), убегающих к центру — соподчиненье сосудов (артерий у вен кровеносной системы души); в готическом творчестве, в Страсбургском, в Аахенском, в Кельнском и Реймском соборах напечатлелися в камне боренья души Августина; так тайна шестого столетия, современность его, стала явью в пятнадцатом веке; соборы—каркасы души Августина: себя сознающей души.

Философия Греции—*жизнь души* рассуждающей; архитектурная форма ее — колоннада и портик; на стройных колоннах стоит треугольник: вот форма храма *Эллады*; вершина его символизует „единое" Парменида, Платона и Аристотеля; а колонны—понятия (категории Аристотеля).

Философия нашего времени — *философия* самосознающей души; эта душа современности пробудилася в Августине впервые; игра ее жизни сложила в пятнадцатом веке уже совершенную, архитектурную форму: готический храм; и сложив, ис-

---

[1]) „Оживальная" арка—существенный штрих готической архитектуры.

струилась из формы (из церкви) в бесформенность, в бунт закипавшей культуры Европы

Что вышло из формы? И что исструилось из храма, из церкви—в культуру?

Певучая музыкальная фуга.

Так: Аахенский, Кельнский и Реймский соборы—застывшие фуги; определение музыки Шлегелем (архитектуры в течении) математически точно.

Где некогда бился таинственный импульс схоластики, уже в пятнадцатом веке увидели иерархию взлетающих арочных дуг: фугу арок; на рубеже меж семнадцатым и восемнадцатым веком мы видим уже и дальнейшее оформление импульса, или снятия с него новых печатей; печати те: музыка мысли (новейшая философия); и—мысль музыки: Бах.

Можно прямо сказать: философия нового времени — музыкальный разлив и градация монументальных соборов; это — пророст шестого столетия, явь сокровенного импульса жизни: Cor Ardens.

Когда то все то билось в пламенном сердце „единого"; этот единый есть Павел (апостол); его ученик — Августин; из Августинова пламени сердца свои протянуло лучи древо нашей культуры: схоластика, готика, музыка, мысль.

Августин есть неузнанный пламень всей светской культуры: и Фауст рождается в нем.

Принимая в себя бессознательно „Фауста" Гете, сознанием явным своим ожесточенно он борется: с манихейским учителем—Фаустом.

Так идет его дело в веках от учителя Фауста— через Плотина, апостола Павла, схоластику, готику, Баха, чрез всю философию, к „Фаусту“ Гёте.

Das Unbeschreibliche
Hier ist getahn.

16.

Парадоксально сказать: из Плотина течет величавая форма позднейших соборов; здесь арки и дуги суть струи: источника музыки; где то там, на вершинах Плотинова духа *„единое“* мысли его, как игла, проколола Платоново небо идеи; в отверстие мысли, свергаясь, протек прямо в кровь человека: экстаз интуиции; в за-экстазной дали открывалось *„Виденье“* Павла. И школа Павла в Аѳинах запечатлела градацию низлетающих струй Божества: в описании ангельских иерархий [1]); это все, ниспадая на нас, оживает, кипит в ярко-пламенном Августиновом сердце; оплотневает рассудком (схоластикой), массивами камня: соборами, готикой.

Если бы философеме Плотина дать плоть из камней, перед нами б восстал: собор Страсбурга; то, что еще не остыло (в рассудке и в камне), то вытекло из готической формы—хоралом и фугою; и продолжало струей прорываться сквозь кровь человека.

---

[1]) Дионисий Ареопагит.

Из Баха повытекла музыка; в Бахе вспоен весь Бетховен.

Струей мусикийской истек живоносный источник из первого века; его отложения суть государство и церковь:—он сам отложился *„культурой"*.

Культура—зеленая поросль над струйкою религиозного, нового импульса. И этот импульс — Христов.

17.

Оплотнение импульса видим отчетливо: в Александрийской культуре; ее оплотнение—Рим; здесь *единое* всей синтетической философии оплотневает в *единстве* огромного государства, в котором пытаются слить синтетически многообразье народных культур; *только с первого века слагается* образ огромной Империи.

Мировая Империя, Рим, — оплотнен е: искаженный каркас Александрийского синтетизма.

Парадоксально сказать: государство воистину преждевременное оплотнение музыки; здесь мистерия человеческих отношений, свобода развития их, контрапункт изменений, рассудочно зарегистрирован, как *закон* и как *долг*, и потому то мы можем сказать, что *закон, долг и право* с категорическим императивом—продукты, конечно же, государственной философии; философия Канта являет собою отчетливо: империализм страны мысли; рационализм философии нового времени—коренится в этическом *прин-*

царе мысли; он — „Рим“ страны мысли; и этот „Рим“ оковал умы немцев-философов.

То, над чем поработали школы Плотина, Филона нашло искривленное приложение к жизни: в работе гигантского Августа, осуществившего для непонятой тайны души социальный каркас. Между сошествием Логоса в души людей и заданием Цезаря Августа этого времени: тайная связь.

Но смещение перспективы здесь явно.

18.

Тайное Александрийской культуры влилося и жило под почвою „Рима“: оно — катакомбно; воистину можно сказать, что imperium взорвано катакомбою; она вышла наружу, как Церковь; то место, где некогда император построил храм Митры (в Александрийский период культуры), теперь увенчалося: Храмом Святого Петра; то, что вышло из недр, оплотнело вторично; теократический принцип, подобно imperium перемешал перспективы: и церковное Государство разорвалося, как „Рим“; но в разрывах, как прорези ярких готических окон, опять таки брызнули: Александрийские импульсы — Возрождение; и — разблистались солнечно невыразимою тайною рафаэлевской краски.

То, что вытекло краскою из каркаса догматики, было действием импульса Александрийских экстазов в крови человека; переселенье Плотина с во-

стока Египта на запад и в „Рим“—глубоко символично; Плотин — вдохновитель поэзии более позднего „Рима“ (в века Реннессанса); он — *„римский“* философ; Александрия таинственно перекинула мост через море: в Италию.

Это она рассветила Равенну блиставшей мозаикой; она пролила сквозь железное папство лучи свои, солнечность: „Civitas Solis“ Италии; встала культурой искусств, „Рафаэлем“.

Но более ранний каркас диска солнца ее—медный щит; меч тяжелого, римского воина—искаженный намек: луча жизни Италии.

19.

В поздней Европе отчетливо видим: перекрещенье культур.

Одна линия—линия рассудочной мысли: от Греции... к Франции; от классической драмы к непонятой *„ложно классической“* культуре искусств; от демократии, республиканского строя и общины к новым попыткам создания демократической жизни, к „коммуне“. И отчетливо видится линия: Александрия, Италия, (Рим, Ренессанс); эта линия далее намечается: истечением красок Италии к... Дюреру; мысли Италии к горному кряжу новейших „германских“ систем философии; „меча“ и „щита“ к... прусской каске; Александрия, протекши в Италию *краской* экстаза Плотина и *светом* „Видения“ Павла, пе-

ретекает в Германию музыкой „Баха"; но над руслом *философий, поэзий* и *музык* Германии, где содержится тайное солнце когда то упавшей культуры,— уродливо возникает смещающий все перспективы каркас: пангерманец.

Произведение империализма: все-немец; произведение тайного импульса солнца—сверх-человек Заратустры; религиозная антиномия Александрийской культуры (Христос или Кесарь) в Германии подменяется ныне культурною антиномией между Ницше и Бисмарком.

Александрийская солнечность, „музыка", неповторяемый „Фауст"—все это теперь воплотилось: в единственном, в Ницше. Imperium, щит, каска, кантовский „*кнут*" императива морали (иль „eiserne Handschuhe") — Бисмарк; и Бисмарк стоит перед Ницше, как страшный двойник устремлений его.

Империализм, закон, „кнут" есть тот карлик сомнений, тот „Нибелунг" Мимэ, которого Ницше всегда ненавидел, с которым боролся; и от которого Ницше погиб.

20.

Культура Германии протекает с высот Ренессанса Италии: Бахом; в слетающий свыше (от ангелов) фуге поют *иерархии* Александрийской символики; Бах для музыки то же, что Дант для поэзии; оба—лучи Александрийского солнца; Бетховен есть

отблески неба в кипениях пены бунтующей крови; она закипает, как бунт, перегретая солнцем, упавшим в нее.

Путь дальнейшей культуры — перерождение крови; и — окрыление крови; кровь станет, как облако; бунт романтизма, индивидуальность и рост ее,—это весенние бури, топящие лед: перед летнею ясностью.

Но эти бури в себе мы несем, как трагедию умирающей личности, долженствующей стать индивидуумом, человеком, свободою.

Мукой трагедии полнятся: Шуман и Шуберт.

21.

Недостаточно видят значение песенных циклов: подобно „Мадонне" Италии и „Христу" Леонардо стоит перед нами непонятый песенный цикл: „Winterreise". Франц Шуберт идет перед нами непонятым странником; позади его—бунт, где он, Савл, уподобляясь „Заратустре"; разбил музыкальными звуками форму единой „симфонии"; в песенных брызгах она; но из „мозаики" песен слагается путь; кто имеет дар звука, тот слышит, что путь — „путь в Дамаск"; путь к видению, к „Вечери" Леонардо-да-Винчи под явною ночью, зимою—горит: полуночное солнце.

От прошлого „пира" к мистерии будущей „Вечери" через пустую зиму—путь в грядущее нашей

культуры; оставленный пир—Ренессанс, Возрожденье, земная весна и земная любовь.

Непонимают niveau „Winterreise"; подножьем его служит цикл неповторимого Шумана: „Dichter Liebe [1])" где лирическое напряженье любви, разрываясь в трагедию, убивает земную, до-дна потрясенную личность; и „великаны" порывов хоронят ее.

На вершине любви—смерть и ночь: от вершины чрез холод пространств начинается путь „Winterreise"—загробное странствие странника; или—хожденье души по мытарствам.

Воистину: кто проследил в своем духе связь песенных циклов, кто понял, что следствием „Dichter Liebe" является „Winterreise", тот понял единственный путь: от человека Италии к человеку, укрытому в нас под холодными коростами современной, замерзшей культуры, к... Грядущему к нам в нашем сердце таинственно Гостю.

Проходим ландшафт, оживляемый криками ворона; крики культуры, иль „вороны"—то „единственный" Штирнера, то „несчастнейший" Киркегора, то „сквернейший" поэмы новейшего времени „Так говорил Заратустра".

И „Заратустра" есть странник. Слушая леденящие звуки одной песни цикла, „Die Krähe", мы ведаем явственно: эта птица, кружащая,—не *ворона,*

---

[1]) На слова Гейне.

а посвятительный ворон; мы знаем, что „ворон" есть стадия посвящения древне-персидских мистерий; ворон есть личное „*я*", в нас клюющее, дух; видеть „*ворона*", стать над „*вороном*"—разоблачить в себе „личность"; и—умереть в личной жизни; мы ведаем: посвящение—тайна трагедии; жизнь—тайна смерти. И слушая звуки „Die Krähe", мы видим: мистерию одинокого „Заратустры", бредущего: от востока на запад; и вдруг—обращенного на себя:

„Eine Krähe ist mit mir
„ Von der Stadt gezogen"

Из „града" умершей культуры воронья, зловещая тень все то тянется, заслоняя пространства духовного мира. Мы видим ее.

Здесь — предел одиночества; это — последний уступ человеческой личности, к „*человеку*", живущему в ней сокровенно; притти к „человеку" в себе невозможно без смерти; что нас убивает, в нас истинно видится, как нападающий „ворон".

Линия личности, линия времени в нас загибается кругом: змеею кусает свой собственный хвост.

22.

В музыкальной структуре у Шуберта — солнечный свет рафаэлевой формы; отдельные песни—мазки; но градация их — совершенная шкала нюансов.

Так формою цикл „Winterreise“ пронизан, как тайным, невидимым солнечным градом; здесь „Civitas Solis“ — посередине „я“: в „*я*“; края „*я*“ (или „личности“)—все разорваны; умерло в них „*я*“ страстей для „я“ жизни.

Слушая цикл „Winterreise“, мы чувствует, что потеряна почва; и что должны что то выстроить мы в тех местах, где уж нет ничего; нисхождение, мертвая ночь перед нами; зима, крики ворона; и туда простирается путь: через мертвую улицу мертвого города.

Eine Strasse muss ich gehen,
Die noch keiner kommt zurück [1]).

Все-таки: в умирании странника — зов; именно здесь, в этой песне, в „Weggweiser“, таинственно слышится вдруг: хорал Баха; и нам проступает в отчаянье *зимнего странствия* звуком опять: Заратустрово солнце, „Видение“ Павла, „экстазы“ Плотина, цветочки Франциска и музыкальные струи души Августиновой.

Что то твердит нам:

Die Sonne Schaue
Um mitternächtige Stunde.
Mit Steinen baue
Im leblosen Grunde.
So finde im Niedergang
Und in des Todes Nacht,
Der Schöpfung neuen Anfang
Des Morgens junge Macht [2]).

[1]) „Wegweiser“.
[2]) Стихотворение Рудольфа Штейнера.

23.

Творчество нового дня начинается муками, ужасом нисхождения; в повороте внимания на себя посещает нас смерть.

Eine Strasse muss ich gehen,
Die noch keiner kommt zurück.

Эта Strasse—пути нисхождения Шумана, Фридриха Ницше: в безумие; здесь неузнанной остается: полуночь. Звучит — Mitternacht; то — неузнанный, путь посвящения; тень „Заратустры“—подкравшийся карлик; и Заратустра, иль странник, увидев его, содрогается: „не высоты пугают, а склоны“[1]); полуночь в сознание Ницше входила: неправдой *повторности.*

Карлик разил Заратустру:

—„О Заратустра“,—*раздельно шушукал он*—„бросил высоко ты сам себя в воздух; но всякий брошенный камень—должен упасть“... [2]).

—„На избиение сам себя осудивший: о, Заратустра, ты высоко бросил свой камень,—но брошенный камень упадет на тебя“ [3]).

Карлик еще говорил:

—„Лжет все то, что протянуто прямо... Всякая истина выгнута: самое время есть круг [4]).

---

[1]) „Так говорил Заратустра“.
[2]) Idem.
[3]) Idem.
[4]) Idem.

В прямолинейном движении — половинчатость лжи; но и в нем: половинчатость истины.

„Путь“ в „Winterreise“ линеен; и полон дурной безконечности; каркают вороны о бесконечности странствия; о бесконечном страдании, одиночестве „*я*“:

Eine Strasse muss ich gehen
Die noch keiner kommt zurück.

24.

Мыслим контрастами мы.

Вызывает в нас линия мысли о круге; и безвозвратность приводит возврат. Но и линия, и окружность—неправды.

В спиральном движении правда.

Неправду прямого движения выявил карлик; и уловил Заратустру в неправду окружности; вечным возвратом его подстрекнул; Заратустра поддался невольно коварному подстрекательству:

„—Все, что бегает, не пробегалось ли по этой дороге; не проходило ли все, не случилось ли, не было все, что может притти“ [1]).

После этого Заратустра уходит из гор: опускается к морю; в горах—озарение мыслью; на море — кипение образов; так возвращение Заратустры подобно: падению с гор.

---

[1]) Idem.

Утверждение *повторения—поворот* Заратустры на тень Заратустры. Перекликается *странствие* Заратустры здесь с песенным циклом огромного Шуберта; и окончание „Winterreise“ встает; окончание „Winterreise“ — во встрече с шарманщиком; это — странный старик (может быть, „Вечный Жид“); крутит ручкой шарманки.

Не там ли, где встал этот вечный шарманщик, линейная эволюции переходит в круги; круговое движение *вертит*; головокруженье, vertige, начинается именно здесь.

Сумасшествие именно здесь нападает на Фридриха Ницше.

25.

Здесь кончаются русла культуры; по ним живоносный источник протек: от второго и первого века; и до двадцатого века; тут он изсякает, тут снова должны мы свершить поворот; осознать в себе *импульс*; в сверхчеловеке должны опознать человека, связавшего воедину своих двойников (Канта с Фаустом, с Манихейским учителем); соединить два пути: путь линейный и путь неподвижного круга,—в спираль.

Мы в своем „Winterreise“ должны понимать, что движенья вперед больше нет, как и нет больше догмата; *перевоплощенье* положенных импульсов нас осеняет; и мы узнаем: в Франце Шуберте перевоплощенного Баха; в Бахе мы слышим: звучание Ав-

густиновой жизни; в звучаниях „Исповеди“ узнаем в свою очередь: отблески лучезарного образа на пути в наш Дамаск.

Осознать этот образ — понять: импульс новой культуры.

26.

Но Ницше не понял того, встретив „ворона“ посвящения, не осилил его; не стал „вороном“; „ворон“ ему расклевал его мозг зимним криком о *вечном возврате*; он мог бы сказать, убегая из... Базеля:

„Eine Krähe ist mit mir
„Von der Stadt gezogen“.

И как странник из *зимнего странствия* Шуберта пред сумашествием он восклицает, быть может:

Krähe wunderliches Tier!

„Krähe“—каркает в Базеле, нападая на странников; голос его и я слышал; в Базеле часто „безумием становится узник! С безумием... пленная воля освобождает себя„ [1]).

Это мне подсказало мое пребывание в Базеле—зимнее странствие, „Winterreise“ мое, начиналося здесь; освобождала себя из тисков, зажимавших в России меня, моя *пленная воля*; я встретил под Ба-

[1]) Idem.

зелем тень Заратустры; и каркала здесь мне ворона; недавно *бежал я из Базеля в горы; и вот:*

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen.

27.

Громыхала уже из Эльзаса война; я, измученный пушечным громом, бежал из-под Базеля в горы — в сопровожденьи *брюнета* (наверное сыщика международного сыска); в Лозанне, в Люцерне и в Цюрихе всюду его узнавал: за стеною отельного номера; на прогулке и в поезде; он садился не рядом, а—наискось: где нибудь в уголке; появленья его я не мог обнаружить; во время движения поезда, обыкновенно в минуту, когда отдавалась душа пейзажу летящих долин, деревень, горных гребней, когда на душе становилось легко, и — отпадало все мрачное, — именно в эту минуту всегда обнаруживал я мою *злую ворону*: меня дозирающий глаз (черный глаз), черный ус, и протянутый кончик вороньего носа:

— „Вот — я".

Сколько бы ни старался с презрением я относиться к сопровождающей личности, все обволакивалось неприятным туманом во мне.

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen.

28.

Мой брюнет в котелке — сыщик? Кто его знает. Принадлежал он — к чему? К — международному обществу обрывания всех нежнейших порывов — к страшному братству, давно обрекающему на погибель того, в ком раз вспыхивал дух; кто они — братья гибели?

Ими окованы *мы*; окружены страшным сыском; души наши при помощи страшных, магических действий, влитых в обыденные действия, соединяются с... Демонами, выгрызающими сознание наше, и в ночь уводящими; окружены котелками, принадлежащими этому вот вороньему носу, который просунулся в Базеле в мою личную жизнь: в год войны; системою шпионажа и сыска — душевного сыска — предупреждается *ими* касание Духа; *они* стерегут на горах; и подкрадываясь, бесчеловечно бросают нас в бездны; поганые их инструменты, расставленные в душевном пространстве, показывают своей стрелкой туда, где родился „младенец“ в душе человека; *гонения начинаются*; вы посещаете, скажем, концерт; и — встречаете „сыщика“, да —

> ...в собрании каждом людей
> Эти тайные сыщики есть [1]).

Гонения начинаются; духовно родивший „младенца“ (иль духа в душе) пусть бежит: вот по-

[1]) А. Блок.

явятся воины Ирода (для избиенья „младенца“); и персонажи международно-астрального сыска устроют охоту (принцип государственности — великолепный экран, которым *они* заслоняли ужасныя действия от человечества, обреченного *ими* на гибель); за охраною государственных интересов стоит *дьяволов черный участок*; и появись одаренная личность, *они* постараются во-время заклеймить ее страшным клеймом: государственного преступления.

В Базеле понял я это; за мною из Базеля в горы перелетела крикливо *ворона*:

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen.

29.

Наша жизнь — мертвый Базель, откуда мы бегаем в горы (Иоаннова здание еще стоит недостроенным); нам вдогонку „вороны“ бросают свой крик: „Остановись, обернись“. Обернувшись, мы видим: предательский склон; наша тень там лежит опрокинута вниз головою; нам кажется: падаем мы; благоразумие заползает нам в душу; и мы возвращаемся: в Базель.

Возвращение наше подобно падению в пропасть.

Возвращение к импульсам Ренессанса—залог зарождения новой культуры; возвращенье к пирам его, к формам его есть падение в смерть. Ренес-

санс дал нам космос; но всякий космос в процессе создания вычеканивается из музыкально поющего хаоса; повторение космоса — олеография; повторение форм Ренессанса—попранье заветов его.

Импульсы Ренессанса—в Александрии; и—ранее: импульсы эти льются на землю Видением Светлого Света: видением Павла; и повторение форм Ренессанса—закрытие нас от зовущего Света: каркасом, щитом.

Культ культуры, провозглашаемый многими, есть такое деяние; самое страшное дело культуры—тенденция: быть насаждаемой государством; соединение государства с культурою — страшное дело; в поверхностном взятии это страшное дело творится повсюду: *капитализм* ему имя.

Возвращенье к *тирам* Ренессанса являет нам лик современной культуры не в образе и подобии Медичи; в образе и подобии Вандербильда и Ротшильда появляется культур-трегер пред нами.

Всем роскошествам жизни, комфортам культуры должны мы сказать наше „нет"; мы должны убежать от них в горы; отправиться в *зимнее странствие*; пережить появление „Krähe"; и углубиться в ту самую *мертвую* улицу *мертвого* города, о которой нам сказано голосом странника:

Eine Strasse muss ich gehen,
Die noch keiner kommt zurück.

30.

Запустение мерзости созерцает наш взор; мы под'ем достижения защищаем от мерзости; а о том, что наш путь не окончен (не начат еще), нам подумать нет времени; запустение устремило на нас свой чарующий взгляд, как удав: мы как птички летим в пасть удава; при этом мы думаем: *мы — нападаем*; быть может: так думает птичка, летя прямо в пасть.

Возвращение к ценностям современной культуры проистекает из страха пред *зимним, томительным странствием*: „Winterreise", как путь посвящения в „Вечерю" Леонардо-да-Винчи, рисуется страшным: уют кабинета, кусок пирога на столе, охраняемый государством, рисуется не *запустением мерзости*, а *комфортом культуры*; и мы почитав комфортабельно странствия Вильгема Мейстера, мы — возвращаемся: к четырем своим стенкам — и „куб" кабинета, отопленный паром, нам кажется: шпицем культуры.

Но „куб" кабинета — „тюрьма".

Возвращение в „свой" кабинет — возвращение *вверх пятами*; и смысл кабинета есть *смысл вверх пятами*; себе говорите, что детские увлеченья мечтой разрешились эпохой *оценки переоценок, переоценкой оценок.*

Между *о* и *пере* — всегда пропасть; скакать по предлогам опасней, чем думают (круты предлоги);

неприложимая ни к чему, безглагольная несуще; ственность есть *предлог*; и *предлог* возвращенья в уют государственных кабинетов культуры — один он — занятие *неприложимою ни к чему несущественностью*: систематикою каталогов музейных реликвий культуры; здесь вместо творчества систематика порождает на свет: *каталог каталогов* (номенклатуру и термин); номенклатура из терминов—клавиатура рояля, где трогаем клавиш заклавищем мы, извлекая приятные звуки: „там-там—Рафаэль; там-там-там—Леонардо; там—Вагнер; та-та-та-там—Фридрих Ницше".

За этим приятным занятием над извлечением звуков культуры проводим мы время, не думая; звук извлекался в безделье пути; гамма звуков *рояля культуры*, которою мы забавляемся, есть любование рядом крестов и терновых венцов; состояние наше на пире культуры подобно тому, как еслиб мы наблюдали из цирка борьбу гладиаторов; перебирание клавишей инструмента (рояля культуры) сантиментально до крайности. Сантиментальность— есть скрытая форма: чудовищных, сладострастнейших импульсов.

Возвращение в „куб" кабинета к культуре—занятие сладострастной игрою—к добру не *ведет*.

Тихий вечер; и—звуки рояля; и—голос, поющий „Die Krähe". Безумец: прислушайтесь... Как стучит ваше сердце!.. Э, да спите ли вы по ночам? Вы ответите „нет".

Еще спите?

Настанет для вас пробуждение; пол кабинета провалится; вы непосредственно с креслом повиснете над провалами ночи: там будет луна—нападающий, пухнущий, каменный глобус, летящий на вас; это будет иллюзия: свалитесь в пропасть; а дом, из которого выпали вы, затеряется праздно над вами: пустой оболочкою; благоразумие, вас вернув в „куб" культуры (в домашний уют), вас вернуло туда, чтобы... сбросить стремительно: вместо того, чтоб уйти добровольно, как странник, — в зиму (чрез зиму) к таинственно скрытому Солнцу, предусмотрительно запасаясь одеждою, будете сброшены вы в тот же холод насильственно, без возможности вооружиться заранее против случайностей странствий.

31.

Не случилось ли это теперь? Государственный „куб" кабинета, в который ушли культур-трэгеры, не отряхшие прах государства от ног, — оказался для них: пересыльной тюрьмой, из которой насильственно выгнали их в ледяные окопы; обманны рояльные звуки—они оказались иными, зловещими, звуками... пушек; „*там-там*" — вот летит *чемодан*; „*там-там-там*" — разорвался, убивши осколками чуть ли не всю молодую поэзию Франции; „*там*" — убиг Ласк; "*там*"—на штык сахарийского негра посажен историк культуры, читавший здесь, в Базелѣ, уни-

верситетские лекции. Клавиатура рояля, подаренная государством культуре, теперь оказалась обманом: *клавиатурою пушечных звуков она оказалась.*

Отказы от „*зимнего странствия*“ привели: к порабощенью в застенках—тончайших и лучших из нас; вот их всех, как преступников, в *зимнюю ночь* повлекли чрез поля и леса к льдом покрытым окопам; чугунные пальцы — гранаты — трещат и клюют их разорванный мозг, проломавши им череп; поют дружным хором отряды бесправных рабов, выступая из города в *зимнее* странствие,— песню:

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen.

Испытание, если мы гоним его изнутри, нападает извне: сумасшествием, мором, войною и голодом.

32.

Запустения мерзости не увидели мы: посредине нам данного „куба“ культуры; „когда же увидите мерзость запустения... стоящую, где не должно, тогда... да бегут в горы“ (Марк)... „Кто на кровле, тот не сходи в дом... И кто на поле, не обращайся назад...“ Мы же все — обращаемся; но обращение наше на мерзость—начало себя повторения в ней.

Не в стоянье с мечом—охранение идеалов культуры, завещанных Ницше; и не в нападенье на ниже лежащее (нападеньем на Регера ничего не

докажешь в Бетховене; и искаженьем чего бы то ни было во славу Гете, не выявишь Гете); восходя от лежащаго ниже, его побеждаем; мы с мельницами *кругового движения* ничего ни поделаем, разве что... попадем в положение Дон-Кихота; опишем на крыльях ее полный круг, ударившись больно о камень, с которого возлетели: ударился Ницше о *вечный возврат*; начал жизнь, как герой; кончил жизнь—Дон-Кихотом.

Вспомним—первая весть возвращения начинается возгласом Ницше: „На ноги, ты, голову кружащая мысль, явленная глубиной существа моего"... Странная нота веселья охватывает одинокого странника, Заратустру: не эта ли странная нота веселья охватывает другого, нам близкого, странника—странника „Winterreise"—при встрече с шарманщиком; этот странный шарманщик, которого избегая, не слышим мы, не подавая ему ничего,—и есть искус возврата: стоит он там именно, где начинается в нашем пуги поворот на себя (поворот Заратустры на тень! „Не высоты пугают, а—склоны"... „Самое время есть круг[1]):

Keiner mag ihn hören,
Keiner hat ihn gern—
Und sein kleiner Teller
Bleibt ihm immer leer.

---

[1]) „Так говорил Заратустра".

Странник, увидевши странного старца, шарманщика, („Самое время есть круг"), восклицает:

Wunderlicher Greise
Soll ich mit dir gehn;
Wirst zu meinen Lieder
Deiner Leier drehn.

(Странный старец, я пойду за тобой, ты *завертишь* шарманку для песен моих). Далее обрывается цикл „Winterreise". Что следует дальше? Сумасшествие Заратустры, не выдержавшего испытания *вечным* возвратом, воскликнувшего, как и Странник, из зимнего странствия: „Ты *завертишь* шарманку для песен моих".

Головокруженье, *Vertige*, начинаётся далее: „на ноги, ты, голову кружащая мысль [1]).

Встречу с вечностью переживает он „*вечным* возвратом"; *что-то* в нем искажает зов вечности: это что-то — иль Ницшева *черная* точка — переживание „*Я*", не как внеличного Индивидуума, а как распухшей и выросшей личности: „Я — заснувший дракон" [2])...

Это есть та же страшная Krähe—*ворона сознания* (личное я), потянувшаяся из Базеля в горы за Ницше:

Eine Krähe ist mit mir
Von der Stadt gezogen.

---

[1]) Idem.
[2]) Idem.

Мог бы воскликнуть он:

Krähe, wunderliches Tier!

Krähe каркает Ницше: „вернулся, — значит ты и прежде бывал: если бывал, то и будешь".

Под луною нет нового.

И Заратустра терзается: „А, оставь... Отвращение!..." [1]) Далее: наступает немое молчание Ницше: его *тихий час*; *тихий час* повторяется; Ницше становится сам *тихим часом*; культура за ним—есть сплошной *тихий час*... перед взрывом всех зданий: каркасов культуры.

Но мы *тихий час* принимали за пастораль кабинета, *тихий час*—нагнетание атмосферного электричества перед громом грозы; гром последовал: комфортабельный кабинет ваш разорван, глухой культур-трэгер! *тогда* вы не слышали, слышите ль вы... хоть теперь: еще время вам есть—убегайте, спасайтесь скорей из под обломков комфорта [2]).

---

[1]) Idem.

[2]) В 1912 году я писал культур-трэгерам: „нагнетая атмосферное электричество у себя в кабинете, мы превращаем атмосферу этого кабинета в атмосферу грозы: *как бы не было молний... молний* среди *стен*, — молний, поражающая нас в сердце" (См. статья „Круговое Движение" в журнале „Труды и дни"). Мне ответили из Москвы приблизительно следующее: „автор статьи „Круговое Движение" есть безответственный жеребец! "События оправдали меня.

33.

Ницше есть острие всей культуры; его острие — встреча с карликом „*возвращения*“. Увлечение Ницше и Ибсеном было подлинно в нас; на одно лишь мгновение захотели мы в горы; в горах оказались сырыми и теплыми мы; *пар столбом*, клуб душевности занавесил туманом тропу восхождения к духу; прорезались *странности* в нас (посредине горы — меж долиной и верхом горы — обитают кретины; спаленные молнией духа); мы стали кретинами; в Ницше увидели мы не тело, ломимое духом: литературную форму; и—стали мы ей подражать, гримасируя символом; наш хронический кретинизм развивался для нас в культур-трэгерство; всякий раз нас звали рискнуть всей жизнью во имя вершинных заданий, мы зовы зовущих передаем... переплетчику; так в муаровом переплете пред нами лежали „*творения*“: переплет раздавил зовы жизни.

34.

Ницше есть разговор вопиющего Бога с... кретином; он—Бог и „кретин“; отпечатками „странности“ говорит „Заратустра“: воображение одухотворяется в нем до... пункта встречи с „шарманкой“ возврата. Шарманщик, он говорит:

Wunderlicher Greise,
Soll ich mit dir gehn;
Wirst zu meinen Lieder
Deiner Leier drehn.

Орел духа в нем борется с страшным *удавом*: змеею возврата; борьба гадины и орла продолжается годы; она—безысходна: соединение гадины и орла есть *дракон*; в глубине его личности, *на пороге* грядущей культуры, из недр, выростает дракон: „я—заснувший дракон".

Сумасшествием, или драконом, предстали пред нами последние вехи когда-то огромной культуры; импульс жизни нисходит *во ад* нашей жизни, чтоб нас приподнять до себя; в приподымании жизни прежнего импульса—перелом нашей жизни; „кубический кабинет с *тихим часом*, таящимся в нем—гроб и ад: выход в *зимнее странствие* всей человеческой жизни—вот что знаменует: страдание Ницше; он—распят в своем кабинете, куда возвратился из гор с „пол-пути" (не дойдя до вершины). С ним вместе культура от первого до двадцатого века нарисовала градацию.

Свет, низошедший в Распятого, Павел, Плотин, Августин, Леонардо, двоящийся Фауст, распавшийся в Канта и Ницше (Кант „есть кабинеты культуры и „Ницше" — попытка начать восхождение). Через строй этих личностей (от Августина до Ницше), их всех проницая, проходит невидимо скрытый источник, построивший палитру красок, градацию фуг и соборов; вот он запевает из Баха, рыдает в Бетховене; в нашем веке прорылся он вглубь, до источника, скрытого в нас, чтобы вырвался этот пленный источник; и—брызнул на небо; чтоб *пол-пути*,

описавши спираль, и отлагаясь то в линии, то в окружности, стало: *путем* — нашим странствием к „Вечери".

35.

Ницше приняли мы; и все *странности* Ницше мы приняли, как бациллы болезней, точащих наш мозг; мог он быть и *дрожжами* для нас, еслиб поняли мы, что и круг, и линейность культуры есть ложь; „ворон" времени, „круг" безвременности (или — „шарманщик") суть искусы; искус пытался осилить неистовый „Фридрих"; привил себе яд повторений; не удалася прививка; и — *повторение* Ницше осилило; раздавила его тяжеловесная косность „культуры": „кубический" кабинет — комфорт, „Кант".

Наше спасение в резвости; резвости этой названье — борьба *„не на живот, а на смерть"*; мы опять подменяем ее суррогатами, тарантеллами рассудочной мысли (происхождение „тарантеллы" — укусы тарантула); кто „тарантулъ"? Кант, Кант — разумеется!

Современная философия научила нас резвости; в ней *очищенный* разум, или *кантовский* разум (в котором, заметим, от Канта почти ничего не осталось) кидается в пропасти *безбытийного смысла:* летит вверх пятами; и модернист-гносеолог летит вверх пятами — за ним, продолжая держать том почтеннейшей *„Критики... Разума"* полуоткрытым, и — читая навыворот: справа налево; и — снизу на-

верх. Получается какая то восточная ерунда: „*Амузар огатенч акитирк*“ (вместо: „Критика чистаго разума“).

„*Амузар*“ есть восточное слово.

36.

„Кант был идиот“, сказал Ницше: но „идиот“—победил „мудреца“; завершение кантианства есть теория, обосновывающая „круговое движение“ (пусть смеются философы!). Построение фразы „*Сознание есть форма формы сознания*“ кантианизирует наше воззрение на сознание, преломляяся в философии Ласка (увы, Ласк убит на войне!); модернизм философии—круговое движение, здесь сознание оплодотворяет себя: гермафродитно сознание; гермафродитен—„*философистик-философутик*“ культуры, исшедший из Ласка и Когена; среди компании „*снобов, сатиров, эйленшпигелей*“ современной культуры воистину он занимает в рядах этих чортиков не последнее место, их всех оформляя и ориентируя в „Канте“; при этом он выглядит: ни ребенком, ни мужем, а—развращенным мальчишкою, Ницше отведавшим; мозг его, разбухая, ломает свою черепную коробку, вываливаясь лопастями и протягиваясь во все стороны; туловище атрофируется; новоиспеченный „тарантулик“, закружась на ногах (лопастях долей мозга), кидается в стороны скачу-

щих „*сатиров*“ и порхающих „*эйленшпигелей*“ — сынков миллиардеров, коллекционеров и библиографов.

37.

В выси мы не отправились, а — скатились: к „*культуре*“, из недра которой теперь бьют в нас пушки; безумие гор подменили мы „*Кантом*“ и „*Круппом*“, предварительно (для комфорта) заставив обоих „полотнами“ горных ландшафтов.

Переживанье под'ема в себе подменили мы: переживанием *созерцания гор* (или—просто сидением на верандах швейцарских отелей); не на горы взбирались мы: просто пошли в *диораму*; такой *диорамою* оказался театр: *драма Ибсена*; там увидели мы и актера, изображавшего Рубека и—зашагавшего по деревянным подмосткам по... направлению к коленкоровым ледникам, чтобы быть опрокинутым: белой лавиною... из... прессованной ваты; перемещение жизни, искание жизни сказалося—разве: заменою олеографических декораций—иными, построенными по принципу: треугольников, кубов и девяностоградусных, жестикуляционных углов; зашагали театры на этих углах к ледникам; люди в них поприклеились фресками к стенкам театра; так со сцены сошел, забродя среди нас, стилизованный гений культуры; невероятно упрощенный—в неупрощаемом вовсе.

Нельзя безнаказанно упрощать человеческий жест; упрощая его в человеке, приходим к звериному жесту; упрощенность в человеке рождает кретина; *кретин* появился на сцене (смотри „Драму Жизни"); и—зверь появился (*негр* пьесы „У жизни в лапах"): тот *негр*, что проткнул своим острым штыком (при сраженьи в Эльзасе) профессора базельского университета: занявшего кафедру... Якова Бурхардта!

Не Заратустра вошел в нашу жизнь, а ворвался в нее Страшный Негр (будет день, и—ворвется Китаец); „арлекинадою" обернулся в нас Ницше; и „*маскарадом*" войны проливаются в душу культуры: Китайцы и Негры.

38.

Другая особенность пресловутой реформы *театра* (пересоздание жизни свели мы к театру) в вертящейся сцене: здесь *vertige* возвращения выявлен: круговращением репертуара на сцене; описан им круг: театральное оп'яненье от стадии легкой *веселости* (отыскание новых форм) перешло к отыскания несуразностей; и—*кретинизма*: (явление „Анафемы", или *Зеленого Змия* на сцене); последовал—сон; и за ним пробужденье: Островский; пересозданье жизни в нас сценою, подменяя пересозданием *жизни на сцене*, окончилось: *сценой* в трактире; вращаясь, довольная сцена пришла: от заданий мистерий—к... *мистерии анекдота кулис*; пока шло *пре-*

вращение сцен, зазевавшийся зритель *вращался* в обратную сторону: от „Строителя Сольнеса“ к... увеселениям кабарэ; „Диониса“ нашел он в шантане: в блистательном *Танго*.

Увы, современная сцена не зацепилась за зрителя, а современная философия не зацепилась за жизнь; превращая замерзшую мысль в хоровод категорий разсудка подобно тому, как ледник превратился на сцене в куски коленкора; лавина—в летящие части перепрессованной ваты.

Вдруг грянули выстрелы там, где была *диорама*; диорамный экран опирался на толстую пушку, которая заплевала гранатой. Культура искусств прозияла дырой.

Разум наш сорвался: возвращение к „Критике Чистого Разума“—пастораль над чудовищным кратером; уголь, селитра и сера—полезны; но—следует помнить: мешая в себе их, мы... действуем... с порохом; менуэт с философией—взрыв.

39.

Мы вступили за Ницше на выси сладчайшего чаянья; и мы видели: Ницше погиб. Не одно ль осталось: начать с того места, где кончил он—так, как он кончил (погибнуть для ниже лежащего), чтобы кончить, как начал он.

Начал с *мистерии* он; и оттого, что он начал

с мистерии, мог говорить он: „я—благостный вестник... я знаю задачи такой высоты, для которых... недоставало понятий; впервые с меня... существуют надежды“ [1]).

Задания наши—в обнаружении импульса, данного Ницше культуре; и в совлечении с этого импульса завесей: сенсуализма, „научности“ „естествознания д-ра Рэ“, *безразумности*, бракovавшей *рассудочно* мысль (Диониса Второго); задания Александрии не поняты; и—упрощен Ренессанс.

Совлекши все это с сознания Фридриха Ницше, мы видим лишь... символы: молча кивают они... проницающим импульсом; Ницше зовет: к голубям и к цветам [2]); *облаками любви опускаются голуби* [3]); символы светятся солнцем; и „Civitas Solis“ спукается в сердце; и он говорит теперь: „*Слышишь без поисков...*“ и—„*как молния вспыхивает мысль, с необходимостью... без колебания*“; приподнимается золотая, старинная чаша из „*счастья, где... и... жестокое действует... внутрь... избытка свеча*“ [4]).

Словом мысли теперь словно мыслят себя.

И такие вот мысли суть струи источника: импульса Ницше.

---

[1]) „Ecce Homo“.
[2]) „Так говорил Заратустра“.
[3]) Idem.
[4]) „Ecce Homo“, стр. 88.

40.

Состояние оживления и очищения мысли есть нерв „Эннеад"; исходя из проблемы души, восходя к очищению мысли, Плотин проповедует: созерцание умственных пейзажей вселенной; преображенно сверкает в нем орфико-пифагорейская школа: поэзией мысли, экстазом; здесь линия мысли натянута; и—струна—извлекает свой звук она; далее эта струна, вдруг заплавясь, как ясная змейка бежит: живоносным источником; мы, бросаясь с него, пролетаем: в ландшафты феорий.

И говорит Рудольф Штейнер об этом же состоянии мысли:

In deinem Denken *leben* Weltgedanken...
In deinem Fühlen *weben* Weltenkräfte
In deinem Wollen *wirken* Willenswesen.

В таком состоянье сознания к Фридриху Ницше пришел Заратустра.

41.

Здесь, под Базелем, вспоминаю текучие мысли мои; и текучие мысли мои переносят меня в Христианию, в Льян, где с женою мы прожили под лучами норвежских закатов, над фиордом, в уютнейшей комнате, не имевшей четвертой стены; там стеклянная дверь на балкончик, висящий над фиордом, да окна—бросали пространства воды в че-

резчур освещенную комнату, впечатление, что она—только лодка, не покидало меня; мне казалось: на двух перевязанных лодках из досок устроили пол; на пол бросили столики, кресла; на креслах сидели (с ногами): с утра и до вечера, погружаясь то в думы, то—в схемы, пестрящие множество в беспорядке лежащих листов; два окна и стеклянная дверь в нашу комнату наполняли пространствами бирюзового воздуха; и казалось: незамкнутой стороной зачерпнет наша комната бирюзового воздуха, опрокинется (не успеем вскричать); и—очутимся в ясных пространствах.

Норвежским закатам, отряхивающим окрестности, я удивляюсь: спокойная ясность пресуществляет фиорды; дыханием воздуха тянутся дали; висит яснолапое облако; желтолимонные полосы влаги лиются, туманясь; и—гаснут.

Бывало, закутавшись в плащ, прочернев силуэтом высокого капюшона и прыгая с камня на камень, жена опускается к водам: прислушиваться к разговору испуганных струечек, плещущих в камни; и жмурясь от света, следим за медузами; вспыхивает невероятный закат; и—не хочет погаснуть.

Размышления наши, которым отдались мы в Льяне, продолжили линию мысли, чертимую в месяцах; мимо неслись города: Мюнхен, Базель, Фицнау, пооткрывались откуда-то издали галлереи, музеи: суровый Грюнвальд, Лука Кранах, блистающий красками, Дюрер и младший Гольбейн нам бросали

невыразимую мысль своей палитры; плакало темной зеленой струей Фирвальдштетское озеро, над которым задумался некогда Вагнер из „Трибшина"; Рудольф Штейнер гремел своим курсом из Мюнхена, Базеля; острая линия мысли нам рыла колодезь; пронесся и Страсбург: готический стиль „flamboyant" нас обжег; пролетел Нюренберг; прошумели над Штуттгартом сосны в немом Дегерлохе; промчалися Кельн и Берлин; приоткрылись „послания" Павла и дивная „Гита" из Гельсингфорса и Кельна; из Дрездена поглядела Мадонна; и—вот: Христиания, Льян.

Переменялись места: неперемепчивый центр оставался—работа над мыслью.

42.

Перемещенья сознания нас посещали; и мыслили мысли себя; и в потоках из мысли вставали потоки из мысли жены моей, Аси; бывала она в существе моих мыслей; и узнавали друг друга: друг в друге; и схемами невыразимейших состояний сознания мы проницали друг друга до дна; мысле-образы Аси мне стали: меня посещавшими существами души; и в альбоме у Аси я видел начертанными все мои мысле-образы: вот—распинаемый голубь из света, и гексаграмма, и крылья без глав, и крылатый кристал, и орнамент спиралей (биенье эфирного тела), и чаша (иль горло-Грааль), и..., я знаю: рисунки лишь символы мысленных ритмов живейшего импульса, перерезавшего нас.

43.

Я садился в удобное кресло на малой терасске, висящей над соснами, толщами камня, и — фиордом; сосредоточивал все внимание на мысли, втягивающей в себя мои чувства и импульсы; тело, покрытое ритмами мысли, не слышало косности органов: ясное что-то во мне отлетало чрез череп в огромность, живоперяяся ритмами, как крылами (крылатые образы—ритмы: расположение Ангельских крылей, их форма, число — эвритмично); я был многокрылием; прядали искры из глаз, сопрягаяся; пряжею искр мне творилися образы: и распинаемый голубь из света, безглавые крылья, крылатый кристал, завиваясь спиралями, развивались спиралями (как полюбил я орнамент спиралей в альбоме у Аси); однажды сложился мне знак: треугольник из молний, поставленный на светлейший кристалл, рассылающий космосы блеска: и „око“ — внутри (этот знак вы увидите в книге у Якова Беме).

Все думы, сжимаяся, образовались во мне, как спираль; уносясь, я буравил пространства стихийного мира; закинь в этот миг свою голову я, — не оттенок лазури я видел бы в небе, а грозный и черный пролом, разрывающий холодом тело, вобравший меня, умирающего в невероятных мучениях; понял бы я, что пролом *в никуда и ничто* есть отверстие правды: загробного мира; зажегся бы он мне лазурями, переливаяся светами (сферу лазури

я видал в альбоме у Аси), втягивая меня сквозь себя; излетел бы из темени, паром взлетающим с шумом в отверстие самоварной трубы; стал бы *сферою* я, много-очито глядящую в пункт посредине; и щупая пункт, ощущал бы, как холод, дрожащую кожу; и тело мое мне бы было как косточка сочного персика; я—без кожи, разлитый во всем, ощутил бы себя зодиаком.

(Зодиакальные схемы в альбоме у Аси меня убеждали, что наша работа вела нас единым путем).

В звездоглазые существа, я распался бы: был бы во мне звучный рой; был бы духом я звездно-пчелиного роя; мои золотистые пчелки слетелись бы в пункт, расширяемый куполом тельного храма (иль улея): знал бы, влетая я всем роем в отверстие купола (или в отверстие темени)—знал: вот мысли мои перестают себя мыслить; и—*медитация* кончена.

Вновь возникала терасса с верхушкой сосны; поворачивал голову к Асе; и видел ее: точно струночка в беленьком платьице с блесками глаз, разрывающими все лицо и лиющими ясность здоровья на весь ее облик,—смеялась мне радостно; взявшись за руки, мы шли на прогулку; вот жмурясь от света и прыгая с камня на камень, сбегаем к фиорду: глядеться в плескание струй, любоваться медузами.

Роями сквозных звездо-пчёл мы сливались в одно звездо-пчелие, переносясь в сферу мысли; и—разлеталися вновь к... куполам наших тельных, оста-

вленных храмов; мы знали, что призваны поработать над храмами, вырезая работою мысли из дерева чувственных импульсов великолепные капители канонов сознательной жизни; я знаю, что Ася, бывая во храме моем, надо мною работала тяжеловеснейшим молотком и стамескою: вырезала в моем существе те страннейшие формы *воспоминаний о дорожденной стране*, из которых сложился впоследствии *„Котик Летаев“*.

Мы потом заработали в Дорнахе над деревянными формами пляшущих *архитравов* и гигантских *порталов Иоаннова здания;* вооруженный стамеской, срезая душистые стружки тяжелого, американского дуба, отчетливо пахнущие то миндалем, а то яблоком (от присутствия в дереве ароматичных бензольных эθиров), узнал я в градации граней, слагающих формы, градации мысленных ритмов; страну живомыслия: в ней побывали мы с Асей, работая в Льяне над мыслью; и купол *„Иоаннова Здания“* стал для меня символом: купола *θеоретических* путешествий моих, оплотнения мыслелетов, слагающих здание новой культуры.

Культура и есть: кристаллизация живых ритмов парений — себя замышляющей мысли; арабески, спирали ее оплотневают впоследствии только простейшими формами: круговых, прямолинейных движений.

И возникают теории: линий культуры; и возникают теории: ее плоских кругов.

Но в источнике мысли нет схем, есть живые, яснейшие арабески; *спираль* есть простейшая линия мыслелета; но в разсудочной мысли нет вовсе теорий спирально растущих культур; теория перевоплощенья первично положенной мысли в теориях культур-трэгеров разлагается на: теорию эволюции и—теорию догмата.

44.

Вечная смена *мгновений* и жизнь *во мгновении*—есть *линия* эволюций; и философия „мига" протянута линией в ней; декадент, проповедник мгновения, защищается в сущности... Гербертом Спенсером.

Круг отрицает мгновение; философия *линий*, себя укусивших за хвост, — *догматизм*: — эволюция свернута внутри круга из мысли; и в догмате бегает вечное возвращение мигов; в движении вперед не имеет плода; под луною нет нового.

Правда *спирали* соединяет *круг с линией*. Соединение трех движений — в умение управлять всеми способами передвигать свои мысли; культура, которую чаем, дана в двух проэкциях: в параллелях из труб, закоптивших нам небо, в кругах государственных горизонтов, сжимающих творчество.

Ареопагит нарисовал три движения мысли; *прямое*, ведущее нас к сверх-чувственной мысли; *спиральное* и *круговое*; последнее, завершаясь экстазами, сковано в догматы.

Эти колеса из мысли не суть аллегории: образы ритмов; чинов иерархической жизни отцы называли „умами“: „Сего ради и в нашем священническом предании первые *умы* называются... светодательными... силами“ [1]).

Говорит Рудольф Штейнер: „По отношению к существам,... которые достигают ступени бытия уже в духовном мире,—... у человека бывает такое чувство, что эти существа состоят всецело из субстанции мысли,... что существа... живут... в ткани мысли... И это их мысле-бытие... действует обратно на мир. Мысли, которые суть существа, ведут беседу с другими мыслями, которые суть также существа“ [2]).

Образование ритмов, колес,—есть попытка представить сверхчувственность мысли в материи чувств; „образования у людей духовно-опытных носят наименованья колес (чакрамов), или также — „цветов лотоса“. Они называются так по... сходству с колесами и цветами... Когда... ученик начинает... свои упражнения, то... они начинают вращаться“ [3]). „Надлежит... разсмотреть, что суть... колеса... Можно... истолковывать описание *умных колес*“ [4])... и т. д. „И

---

[1]) Дионисий Ареопагит. „О Небесной Иерархии“. Издание 1786 года, стр. 57.

[2]) Рудольф Штейнер: „Порог духовного мира“. Стр. 87. Изд. „Духовное Знание“. 1917 год.

[3]) Рудольф Штейнер: „Путь Посвящения“.

[4]) Дионисий Ареопагит: „О Небесной иерархии“. Стр. 105 Изд. 1786 года.

вот... по одному колесу перед четырьмя лицами их...; и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находится в колесе... А ободья их—... ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз"[1])...

И вспыхнула, и осветилась игла:
Все—вспомнилось... Не поднялось вопроса:
В какие то кипящие колеса
Душа моя, расплавясь, протекла.

46.

Сказанное в вечных книгах есть правда и жизнь; и потому то все вечные книги—не книги, а сваянные созданья из искр; самый видимый мир—только сердце какого-то существа, брошенного от вселенной к вселенной.

Книга есть существо; пересекая трех-мерность, четвертое измерение книги и образует куб книги: или — книжечку in octavo; страница есть плоскость; строка—это линия.

В чтении, производим движение: мы проводим по линии строчку; перенося строку, мы почти образуем движением глаз полный круг; присоединяя к странице страницу, мы чертим спирали, правдивая книга — спиральна; в ней вечная перемена бессменно лежащего; правда: *перевоплощение* неизменного в ней.

---

[1]) Книга пророка Иезекииля. Гл. I.

Если бы линия эволюции осуществляла бы жизнь, книг бы не было: пока пишешь, уж все изменилось в тебе. Если в мире господствует круг, то до создания мира уж созданы книги; писать было б нечего; все написанное бы имело вид плоскости: плоскость есть круг. Лишь в спирали возможности книги — в перевоплощении однажды написанной книги: Судеб.

46.

Душа времени— есть единство себя сознающего центра; тот центр — наше „я"; душа строк есть единство себя построяющей мысли (мысль наша в нас строится). Строки—первые в мысли телесности; они — нервное волокно, облекающее электрический ток мозгового удара; в ударах — пульсация строк; строки бьют по предметам; и тело мелькающих строк есть страница, она оплетает все строки (из соединительной ткани построены кости). Вся сумма страниц—толща мускулов; и заглавный лист—кожа. Так книжечка есть последнее облечение плотью живого создания, и проэкция в три измерения четырехмерного существа.

Книга—распятый ради нас в косный хаос материи светлый Архангел.

Но книг не читают...

Читайте и слушайте: вот удар первоздания; причаститесь архангельской мысли; ведь в книге — вещает народ; точно станете им расширяяся к родине:

на аршин от себя во все стороны ощутите вы странные пульсы, они нарисуют ваш контур, переливающийся золотыми и синими искрами во все стороны; вы ощутите: уходите в землю, под землю — сквозь землю; и вы ощутите: уходите, выростая сквозь небо, и искры небесного свода, пульсируя, лягут на грудь; ваше небо с землею внутри существа вашей жизни: обнимает их действенно мысль.

Кто там стал — непомерный, огромный сияющий? Вы—вне себя: у себя Самого.

Обыденная мысль—крепкокостный скелет первой солнечной мысли, которая перекинула обыденное чувство чрез голову мысли: чувство — чувство пространства; пространство же — мускулы солнечного создания; воля теперь перекинута в высь через мускулы чувств, ибо воля есть—время; времена же лишь нервы существ нашей мысли; струя крови вселенной—она.

Вы теперь—только солнце, которое озарило страницу; то солнце, которое вписано в вас: от груди и до темени.

Вы за чтением книг—вне себя—у себя самого.

47.

И потому то слова о „колесах", „кругах", „пентаграммах", „спиралях", и „линиях" мысли—слова об огромнейшей правде существ, обитающей даже в схемах рассудочной мысли; когда оживите ее, то

вы скажете с Штейнером: „существа... живут в ткани мысли... Существа... состоят... из субстанции... мысли“... И сообщения мысли разыгрываются вечно подлинной жизнию: миры образов—оплотненья безобразной мысли; а предметы действительности—оплотненья фантазии; если мысль — чистый воздух, то образ есть облако, образованное от сгущения воздуха в водный пар; и потому-то фантазия есть сгущение воздуха мысли во влагу; природа, обставшая нас, кристаллизация влаги фантазии; не по образу и подобью нас обстающей природы под'емлется в нас мир фантазии, а по образу и подобию сгущаемой мысли; и оттого вдохновение—творчество мира.

Прав Ницше: „Инстинкт ритмических отношений... есть почти мера для силы вдохновения... Все происходит в высшей степени непроизвольно, но как бы в потоке... Силы, божественность... непроизвольность... Символа есть самое замечательное... Действительно, кажется,... будто вещи приходят и предлагают себя“ [1])... Это—„символы“ Ницше. Они суть сложение первых зачатков грядущей природы в природе фантазии; и из символов выпадает впоследствии мир; существо символизма—строительство мира; культура поэтому символична всегда.

Кризисы современной культуры в смешении: цивилизации и культуры; цивилизация — выделка из

---

[1]) „Ecce homo“ стр. 89.

природно нам данного; то, что некогда оплотнело, что стало, застыло, становится в цивилизации производственным потреблением (так из стали мы можем искусственно приготовить ножи); образованье материи стали из образа, в нас нисходящего свыше из мысли — культура; цивилизация — эволютивна всегда; инволютивна культура; в культуре из мыслесуществ, из страны жизни мысли вливается в душу нам нечто, что там оживает, как образ, который когда-нибудь выпадает, явной природою; образ есть символ; он — мысленен, то есть, *жив*; мысль есть солнце живое, сияющее многообразием блесков, лучей, иль... „умов" по выражению Ареопагита: они— существа иерархической жизни: Архангелы, Ангелы, Власти, Начала, Господства, Престолы; все образы в нас (иль — культуры) суть плоти их жизни; природные образы суть волосы, выростающие на чувственном теле.

48.

Напоминают мне Ангела: лилия, ирис и месяц; Архангела: пламя, меч, мак; а Начало передо мною вращается в голубой хризантеме; для Сил, цветный образ есть белая роза; Дух Мудрости — Голубой Колокольчик.

„Есть ли же кому покажутся сии, впрочем священные сложения толикого приятия достойными, что уже и простые вещи, сами по себе нам неве-

домые и невидимые, ими означаемые...: тот да ведает, что оные... совершенно отличны от них“ [1]).

Символы формируют природу души, чтобы некогда формировать через душу иную природу: материки, на которых мы будем ходить, будут водными; после — воздушными; культуры отжившие в нас разлагаются в мир природных предметов и мир отвлеченных понятий; последний, извне налагаясь на первый, преобразует его в мир изделий; культура—фантазийна; а фантазия—мысленна; цивилизация—фабрична всегда.

Символ сущего — круг; воплощение сущего во время теперь — невозможно: цивилизация—линия; в ней сужается кругозор: наша жизнь — одномерна; в культуре, которую ждем, мы увидим соединение *линий* с *кругами: в спираль символизма.*

49.

Линия—смена мгновений и жизнь во мгновении: правда покоится только в последнем мгновении; но оно—совокупность пережитого во времени; мы в последнем мгновении ощущаем всю линию времени кажется нам, что мы стали над временем: едем на времени; все безвремённости в миге—иллюзия: ощущение быстроты не есть Вечность.

„Эволюция“ есть изделие многих почтеннейших лбов; культ мгновения—есть изделие головы дека-

[1]) Дионисий Ареопагит: „О Неб. Иер.“ стр. 16.

дента; сомнение в сторону лбов: „неужели почтенная философия Герберта Спенсера вырождается в декадентство?“ И—в сторону декадентов: они утонули в почтеннейшем Спенсере; эволюционная философия породила кубизм, футуризм, где последние миги искусств только хаосы первого мига (доисторических криков); миг выплющился полной окружностью; линия описала лишь круг.

В том—закон эволюции, что она, прогрессируя, отклоняется неизменно от линии... влево; и обращает прогрессы в регресс; эволюция переходит лишь в—вечное возвращение мига: прямая в ней—линия круга, которого радиус — бесконечность; окружность есть догмат.

И философия эволюции разрывается в догматизм.

50.

Мгновение отрицаемо кругом: пережитое—лишь малый отрезок пути; переживание было бы правдой в том случае лишь, еслибы сущие и грядущие миги в нем были б *implicite*; их совокупность, вернувши к истоку, не изливалась бы в линию (вечное—вневременно: оно—в неподвижности); мысль—неподвижна; и неподвижность ее—догматизм.

Многообразие догматических истин во времени нарисовало в столетиях *линию эволюции* (*догматов*).

„Миг“ эволюции раздувается из лягушки в корову: Коген есть лопнувший Спенсер; со Спенсером, лопнувшим в Канта, должны так же лопнуть в

каноников творчества все футуристы. Футуристическая культура искусств есть канон.

Поэтому: есть в классицизме—кусок футуризма; бессюжетность встречается в линиях, из которых сложил рафаэлевский гений огромный сюжет.

Знаю линию „лопнувших" модернистов, кубистов: одни из них лопнули просто; другие долопались до... законченной формы канона: „каноны" суть догматы.

Идеал футуриста — не форма, а прихоти неврастеничного „мига", а идеал канониста есть форма (Венера Милосская); от „мигов" свободна ли форма? Бесформенна ль прихоть?

Воистину форма ее: точка в круге из догмата

Философия догматизма твердит про отсутствие смысла во времени; эволюция предполагает и время и *линию* времени; в *круге* же—времени нет; но увы: в утверждении отсутствия времени кроется „психологический" миг—сей плебей философии; в определенный период истории философии стала она, философия, вне законов истории; историческая беззаконность ее исторически узаконена; действие, ей разрешенное: *уничтоженье себя самое.*

И она—„психология", миг, нервный тик, содрогание, агония, и... трупность; весь новейший логизм—психология трупности.

Догмат не догмат уже раз он „*есть*"; и раз есть „*есть*" догмата; в этом есть—в нем самом бьющий миг, так что догмат — не *круг*, а — круг с точкою. Что связует круг с точкой? Спираль.

51.

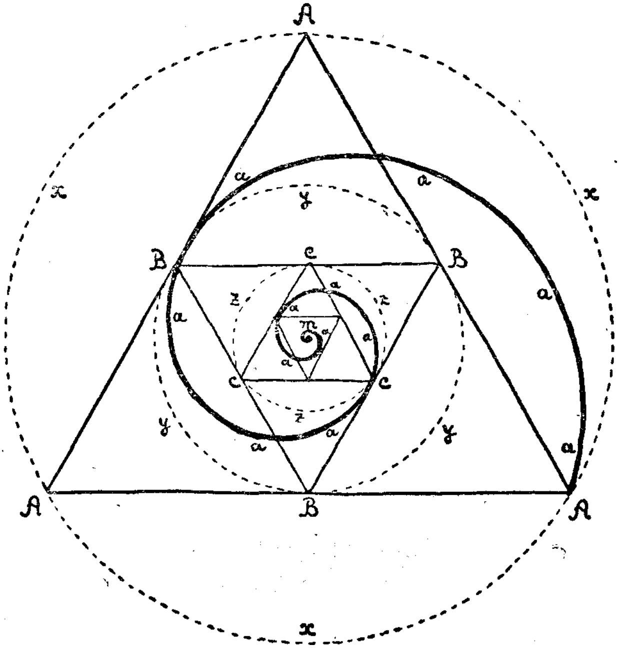
Зарождается в точке она: расширяется кругообразною линией, обегающей линию оси (прямую); спираль — круголиния; в ней эволюция, как и догмат — проэкции конуса обращенья на плоскостях, перпендикулярно поставленных; первая — есть треугольник: не линия, а две линии разбегаются книзу и кверху; обычная эволюционная линия (ось) — недана; дань расщеп этой оси: ростущее противоречие в нем; мы видим отчетливо треугольник: не видим отчетливо: конуса; и не видим мы линии; воображается, проведенная ось есть прямая; так нет эволюции в обыкновенном раскрытии этого *темного* термина; есть примышление ограничительно допустимое лишь.

Созерцая движенье спирали с другой проводимой проэкции—видим мы: круг и точку; сжимается линия эволюции в ней (философия Спенсера в афоризм декадента о правде мгновенья); а ее обегающий круг никогда не закончен (спираль не смыкаема в круг): догматический круг есть неправда; неправы догматики, сжавшие время *в систему.*

52.

Символ есть измерение догмата: *третье* его, глубина; ибо в символе догмат—не круг, а—спиралью построенный конус вращения; линия эволюция в

Вид спирали в плоскости конуса вращения.

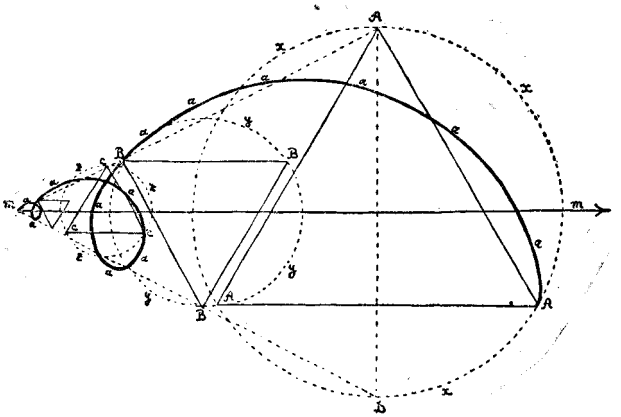


а—линия спирали.

m, A, D—проэкция конуса вращения спирали.

z, y, x— проэкциа несуществующих кругов развернухых в
плоскость чертежа.

Вид спирали с левой стороны конуса (в перспективе).



AAA, BBB, CCC—треугольники догматических систем разнообразно поставленные в разном сечения времени (развернут в плоскость чертежа).

m—воображаемая линия эволюции.

ra—I проэкц. точки эволюции (миг).

mA, mB,—ангиномия раскрывающаяся в эволюции (линия образования конуса вращения спирали).

mA, mD—перспективная обводящая линия конуса вращения спиралм.

конусе *догмато-символа* есть из единственной первоположенной точки ростущая плоскость кругов и фигур, в круги вписанных (например треугольников с выростающими сторонами ССС, ВВВ, ААА); все точки всех линий фигур и окружностей, перетекая во времени, пухнут; в первоначальной вершине ростущего конуса — соединение мига и Вечности; свет наполняет весь конус; и гонит, и ширит, вращаясь, бегущий, ростущий, вскрываемый догмат: в перевоплощениях времени.

Символизм—глубина догматизма; и—рост догматических истин; но опрокинутый в догматизм, уплощается он; опрокинутый в эволюцию — узится; и становится линией. Догматы, из которых изсякло линейное время—„круги ширины"; но все плоское ширится; и *„синтетизм"* догматических философий есть плоская ширина; а философия эволюции — узость дурной бесконечности; пересечение догматов—линия; споры философов, пересекая круги догматических истин, обрушили догматы философии прошлых веков в эволюционную линию философии Спенсера; она—пыль догматических истин, раздробленных в атомы афоризмов о миге: софизм декадента—венец ее.

В символе—наростание догмата в линии времени (из Δ „ССС" выростают: Δ „ВВВ", „ААА" и т. д.). Подлинный догмат о догматическом росте (иль догмато-символ) — коничен; его эволюция пишет спирали; спирально закручены линии всех треуголь-

ников; а—треугольник сечения в разнообразных сечениях разнообразно поставлен.

Мгновение догмата — пульс поворотов, где нет возвращения; догматы возвращения в догматах символизма, вращаясь, бегут: перевоплощенье однажды положенной правды в них видим, ростущей из точки до конуса; точка же есть человек; круг есть он же; и он же есть точка в окружности; но окружность, иль шар,—это „мир"; мир и „я", я и „мир" *суть единое* в символическом догмате: то же гласит нам наука о духе.

И в нас треугольники вписаны: в главу, в сердце и в руку — углами; мы носим, мы движим, меняем их ритмы в себе; чувство, воля и ум, превращаясь и обратясь друг вкруг друга нам множит способности.

53.

Два искажения символизма встречают: в *люциферическом* искусе философского догматизма, в *ариманической* эволюции; дважды в себе мы должны ложь, распять чтоб иметь: два видения: распятого Аримана и Люцифера.

Таковы два видения до „Видения" на пути в наш Дамаск. Первое у нас было; второе—является; третье—придет.

54.

Дионисизм чистой мысли не понят был Ницше; Александрия не понята; и легкомысленно взят Ренессанс.

Совлекая все это с сознания Ницше, вскрываем мы: символы, о которых им сказано: *молча они нам кивают без слов;* чем же символы молча кивают? светлеющим импульсом; Ницше зовет: к голубям и к цветам; опускаются голуби Духа трепещущей тучей любви; эти символы светятся солнцем: и — солнечный город спускается в сердце.

Наш отказ от Видения на пути в наш Дамаск— углубляет Видение, вставшее в сердце. Сознание Ницше отделено безымянностью в нем поющего импульса; в странствии, не озаренном никак, восходило для Ницше полночное солнце мгновениями; его песня—гимн к солнцу Франциска:

Ich schlief, ich schlief
Aus tiefen Traum bin ich erwacht...
Die, Nach ist tief
Und tiefer als der Tag gedacht.
Tief ist ihr Weh...
Lust tiefer noch als Herzenleid.
Wer spricht vergeh?
Doch alle Lust will Ewigkeit.

И воистину: вечности радости — радость о вечности; здесь соплетается Ницшева песня с всерадостным гимном Франциска.

И да: Заратустрово солнце разорвано; тайна его,—что оно есть завеса над Ликом, над Именем; Свет же единственный — оку не виден (видна лишь поверхность свечения); Солнце—завеса на лике живом.

55.

Этот Лик был отвержен решительно всей современной культурою; данный извне всем развитием жизни церковной Европы, не пропечатался в сокровеннейшем человеческом импульсе; он, безымянно струясь, пробиваясь в сознание индивидуальных носителей импульса, бурно отверг все печати церковного лика: в видении Павла, который не видел Христа; потом тот же импульс отбросил в лице Августина душевно-духовные представленья о лике VI-го столетия, очертивши нежданные русла свои в *над-духовной* обители, бывшей закрытой; туда излилась сила мысли: все лики, все образы, все иконы, все культы разбила, струясь, философия нового времени, изливаясь безобразной музыкой из русла форм религии; но и она — *„окаркасилась“*, -призастыла в разсудочность; так возникал восемнадцатый век; так протекал—девятнадцатый; Ницше, отвергнув „каркасы“, отверг и „иконы“; идоложертвенной плоти не принял; кидаясь в чистейшие ритмы своих безымянных надежд; и — грохочущим солнцем, палящим из центра души, показал нам: мерцающий просветень новой культуры.

Второй Заратустра его—провозвестник: второго, сердечного солнца; проглядные ясности вымерцают из солнечных слов *Заратустры второго;* но солнце его—полуночно;—он может сказать о себе:

В себе самом рас'ятый,
Как мглой небытия,—
В себе самом распятый
Светлею светом „Я".
В пустынном, темном мире
Рука моя растет:
В безсолнечные шири
„Я" солнечно простерт.

Он „узнал о *Я*"—Солнца второго; второе пришествие „*я*" (в нашем „я") провозгласил он пришествием в наше „я" Полуночного Солнца. Но оформляя то знанье учением о сверхчеловеке,—ошибся; не вырешил он, что он ждет „Человека" в себе—впереди себя: там—в миголете грядущих времен; но его время—круг; так: стоящий в вершине вращается в круге: *всегда возвращается.*

Не опознал: колесо миголета—внутри человека; оно—только прорези умных сердечных колес: и стоящее в точке („*я*" в „я") есть оясненный лик круга Солнца; и лик, как бы там ни назвать этот лик—человеком воистину, сверх-человеком, иль Богом—есть „*я*"; оно—„*я*" всего мира и „*я*" человека; явление связи двух „я" есть Христос.

В Заратустре—предощущенные восходящего Солнца: но солнце—бутон неразвернутой Розы: *Христа* или „*я*"; время бегает кругом; во времени все

Заратустры (*второй* как и *первый*) предвестники. Так нам пропели лучи Заратустры: пришествием света.

Второе пришествие—есть!

В раскрывании брежжущей тайны—загадка культуры; и здесь: разрывание всех пластов, оковавших ее; она строилась преждевременным оплотнением живоносного импульса; оплотневал импульс жизни „*видения*" Павла в церковной догматике, по отношенью к которой, конечно же, Августин — протестант; оплотневал Августин протончением схоластической мысли; оседали кристаллы ее плотным камнем соборов; а импульсы жизни текли из соборов журчащими струями Баха; оплотневал самый Бах в разработанных музыкальных канонах, а импульсы жизни, сочась из искусства в кровь сердца, вскипали как „*бунт*": против всех; оплотнел самый „*бунт*"; круговое движение Ницшева времени вырвалось из бунтарского постамента, из статуи Сверх-человека-Антихриста: несказаннейшей, безымяннейшей нежностью:—

—Импульсом Сердца.

Новое имя („бунтарство" бунтарства, „я" самого „я") есть Христос.

So finde im Niedergang
Und im des todes Nacht,—
Der Schöpfung neuen Anfang
Des Morgens junge Macht [1]).

[1]) Так в нисхождении и в мертвой ночи найди творенье нового начала и утра молодую мощь.

Догматы нашей культуры перевоплощалися в человечестве, свертываясь по спирали в единую точку; и точка та—„*я*“; „*я*“—свободное „я“ — есть вершина громадного конуса; от основания (круга) к вершине (блистающей точке) бежала спираль; если круг — „зодиак“, опоясавший человечество первого века, то точка есмь „я“ (человек, проживающий ныне: в двадцатом столетии); если же повернуть конус времени—линия (или спираль) в этом новом сечении исчезает; мы видим: *круг с точкою посередине ею*; точка — „я“, находящееся в 1915 году в старом Базеле; круг—это догматы первого века; а катастрофа культуры—в естественном перемещении зрения перпендикулярно к истории; кажется, что спираль, пробегающая от громадного круга до маленькой точки, до „*я*“ (на протяжении двадцати веков) совершается в тот же момент: круг пришествия (догмат) и „*я*“ (иль *пришедший*) таинственно связаны; тайна пришествия есть: пришествия „я“ (совершенно свободного)... в Базель.

Если бы человек попытался себя пережить, как пришедшего, и если бы всю историю девятнадцати с лишним столетий рассматривал он, как сниманье печатей, разоблачающих миссию „я“ (моего), переживающаго, здесь в Базеле, мировую Голгофу, то—ему бы открылось все то, что из недра сознания Ницше исторгло безумнейший крик: „Ecce homo“ сна-

чала; следствие „Ecce homo“ — последняя подпись безумного Ницше, гласящая, это он есть Распятый... (Дионис).

Но в этот же миг сознается обратное: „я“, разрываясь в себе, распинаясь в себе, посередине себя наблюдает огромную ночь: посередине ее стоит Солнце: но Самое Солнце—Круг Солнца—есть Лик, восходящий во мне: „*я*“, всходящее в „*я*“, отделимо от „я“ безысходной далью („я—путь и стремление к дальнему“); дальнее приближается в страшной работе: преодоленья Сознания; я несу в себе целое Солнца, но „я“ не есмь „Солнце“, и еслибы мне графически выразить отношение „точки“ („я“ личное) к Солнцу во мне, мне бы следовало нарисовать вдалеке от вершины истории двадцати веков (конуса)—круг; и—провести к нему линию; получился бы конус, обратно поставленный; „точка“, мгновение, или „*я*“, пребывающий в Базеле, понял бы, что „*я*“ в будущем только могу стать воистину солнцем, которое Ницше увидел впервые, как прорезь возможности; следующий момент после Ницше—перемещение перспективы сознания, перпендикулярное к Ницшеву взгляду на „*я*“, но обратное взгляду истории: солнце близится; станет поверхностью жизни оно, может быть, через двадцать столетий.

Второе пришествие—пресуществление в Христе всей планеты и „*я*“, обитающих в Базеле, в Петербурге, в Саратове: совершится воистину.

Знание это теперь — *математика новой души*: в *математике этой духовной науки* загадана нам и культура грядущего.

Ныне стоим в самой точке перекрещения конусов: в Ницше; чрез бунт его, чрез его отрицание, чрез узнание тайны свободного, звездного „*я*" — все пройдут, как чрез ушко той иглы, которая ныне историю перерезала на-двое: по одну сторону стоят крики: „Несчастнейшаго" Киркегора и „Единственного" Макса Штирнера; в центре — „распятый Дионис" (эсотерическое название Ницше: он так себя назвал).

57

Относил я цветы на могилу покойного Фридриха Ницше: то было — под Лейпцигом; помню: припал на мгновенье к плите, лобызая ее; и — почувствовал явственно: конус истории отвалился таинственно вдруг от меня; мне казалося явственно, что событие путешествия нашего к праху почившего Ницше — событие неизмеримой, космической важности, и что я, преклоняясь к могиле, стою на вершине чудовищной исторической башни, которая — рухнула, отделилась от ног, так что я в пустоте — говорю: „Ecce Homo".

И я — „Ecce Homo".

Так мне показалось. И мне показалось еще: невероятное Солнце слетает: в меня!

Переживания на могиле у Ницше во мне отразились странной болезнью... продолжились — в Базеле; часто казалось: я—распятый; так бродил над зелеными, быстротекущими струями Рейна; вонзалися тернии в *чело века*, которое возносил я над Рейном; казалось, что гибель культуры носил я в себе; странно: тернии жизни моей обнаружились в Дорнахе мне.

Злобно каркнула здесь мне ворона.

Здесь—в Базеле, в Дорнахе—я подолгу смотрю на оранжево-красную черепицу домов; и—меня окружают, как Ницше кретины; здесь предан сожжению прах Моргенштерна. Отсюда я слушаю говоры пушек в Эльзасе; переживаю здесь гибель культуры; встречаю рождение новой; и — созерцаю два купола ясного здания.

Андрей Белый.

Базель-Дорнах—Москва.
1912—16—18 год.

КАТАЛОГ
Книгоиздательства „АЛКОНОСТ".

АЛЕКСАНДР БЛОК.

„Соловьиный сад". *(Распродано).*
„Двенадцать" с рис. Ю. Анненкова. *(2-е и 3-е изд. Распродано).*
„Катилина".
„Россия и Интеллигенция".
„Ямбы". Современн. стихи.
„Песня Судьбы". Драматическая поэма.
„Молнии искусства". *(Готовится).*

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ.

„Христос Воскрес".
„Королевна и Рыцари". Сказки.
„На перевале":
1. Кризис жизни. *(Распродано).*
2. Кризис мысли. *(Распродано).*
3. Кризис культуры.
4. Кризис слова. *(Готовится).*

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ.

„Младенчество".
„Прометей". Трагедия.
„Человек" *(Готовится).*
„Скрябин". *(Готовится).*

„ЗАПИСКИ МЕЧТАТЕЛЕЙ“.

Журнал, посвящ. литературе и искусству, при участии Александра Блока, Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Алексея Ремизова, Вс. Э. Мейерхольда, Вл. Ник. Соловьева, П. О. Морозова, Конст. Эрберга, Иванова Разумника, Н. Э. Радлова, В. Зоргенфрея, М. В. Сабашниковой, М. О. Гершензона и др. *(№ 2 Печатается).*

Л. Д. ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛ.

„Нет!“ Рассказы. Посмертн. изд. под ред. Вячеслава Иванова *(Распродано)*.

„Певучий осел“. *(Готовится)*.

„Лирическое в прозе и стихах“. *(Готовится)*.

АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВ.

„Записки Всеволода Николаевича“. *(Распродано)*.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК.

„Александр Блок Андрей Белый“.

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ.

„Сибирский пряник“. Сказки.

„Электрон“.

„Скрижали“. Заветные сказы. Изд. по подписке. *(Печатается)*.

„Кавказский чурек“. Сказки. *(Готовится)*.

„Царь Максимилиан“. Театр.

КОНСТ. ЭРБЕРГ.

„Цель творчества".

„Плен". Сборник стихов.

ВИКТОР ГЮГО.

„Легенда о прекрасном Пекопене и о прекрасной Больдур". Перев. А. Кублицкой-Пиотух с предисл. Александра Блока.

КОНРАД-ФЕРДИНАНД-МЕЙЕР.

Лирика. Перевод А. В. Луначарского. *(Печатается).*

ИСКУССТВО СТАРОЕ и НОВОЕ.

Сборник статей под. ред. Конст. Эрберга *(Печатается).*

ВЛ. ПЯСТ.

„Поэма в нонах" *(Готовится).*

„Рукопись Хлябина" *(Готовится).*

16286/449

12.000-
136989/295

Цена 70 руб.